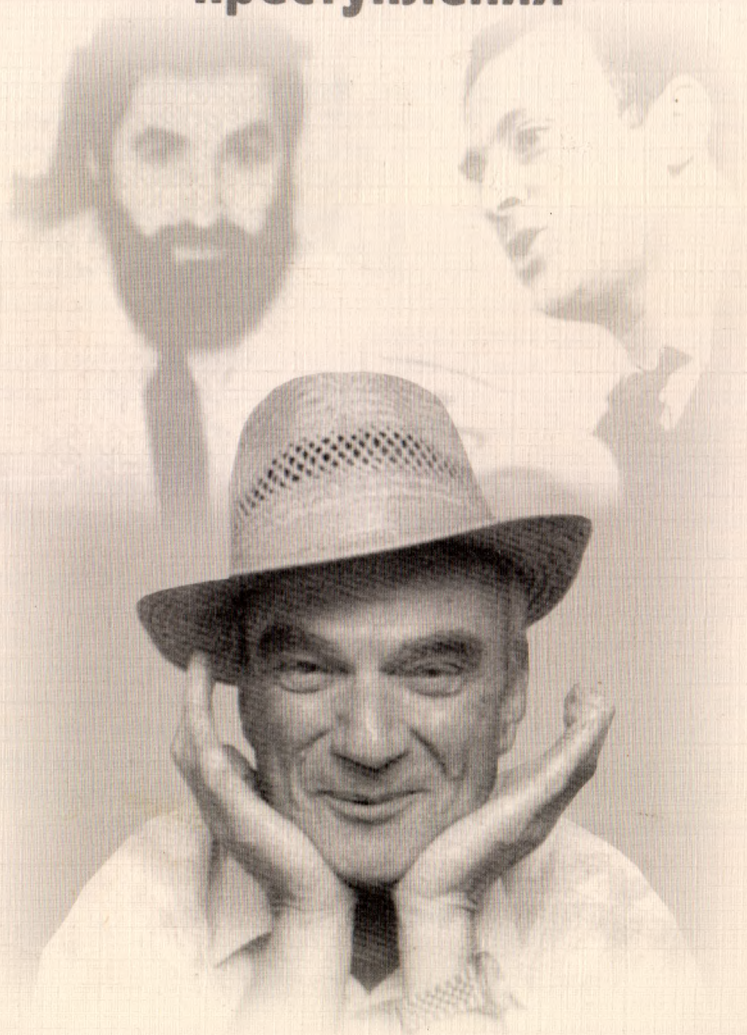


ИСТОРИЯ

ПОЛИТИЧЕСКОГО
преступления



70-летию Мастера посвящается

Главный герой нашей публикации **МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ** - родился в Ленинграде в 1934 году. По окончании Ленинградского педагогического института имени Герцена (факультет русского языка и литературы), работал учителем истории и географии в Алтайском крае, а после этого учителем русской литературы в Ленинграде. Одновременно заочно учился в аспирантуре по специальности «советская литература». Оттуда был «выдворен» за «неортодоксальные взгляды», стал писать критические статьи и рецензии, занялся литературной обработкой мемуаров советских генералов и сценариями документальных фильмов.

Позже перешел на документальную прозу, историческую публицистику и драматургию, печатался в журналах «Звезда», «Аврора», «Нева», «Вопросы литературы и др.

В 1974 году арестован и осужден на 4 года лагерей и 2 года ссылки за написание черновика предисловия к «самиздатскому» собранию сочинений И. Бродского. Срок отбывал в Мордовских лагерях, ссылку в городе Ермаке (Казахстан).

Свои впечатления о том времени, когда он познакомился с диссидентами и политическими борцами, описал тогда же в книге «Место и время» (Париж, изд. «Третья волна», 1978) и в многочисленных публикациях в зарубежных журналах и газетах. По окончании ссылки был «выдворен» в Израиль (март 1980), где начал работать научным сотрудником Иерусалимского университета, печатался в журналах «Континент», «Время и мы», «Круг», «Факты и мысли», «Посев», «Трибуна», «Сучасність». Член редколлегии журналов «22» (Израиль), «Взгляд на Израиль», «Народ и земля», журналист газет «Вести», «Время», «Русский израильтянин», автор многих книг.

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

(Сборник материалов и публикаций)

Санкт-Петербург
2004

Составитель – Н. Лисицкая

Фото М. Хейфеца на обложке работы Б. Криштула

Фотоколлаж – Е. Ананьина (фотографии из архива М. Хейфеца)

История политического преступления

После выдворения поэта Иосифа Бродского из СССР группа его друзей собралась и выпустила в свет в «самиздате» собрание сочинений поэта (машинописное) в пяти томах. В 1974 г. это первое в России и мире полное издание Бродского сделалось темой «дела №15» Ленинградского управления КГБ. Издатель, прозаик Владимир Марамзин, был арестован, после многомесячного следствия признал себя «виновным» (правда, в написании собственных романов и рассказов) и, получив условный срок, вскоре эмигрировал на Запад. Больше пострадал другой писатель, Михаил Хейфец, автор предисловия к этому же собранию сочинений Бродского: суд приговорил его к шести годам заключения и ссылки.

Позднее за границей и в России были опубликованы документы и свидетельства по «делу №15» (а в Санкт-Петербурге на киностудии «Леннаучфильм» сделали о нем фильм - «История с предисловием»).

В нашем сборнике эти материалы впервые собраны все вместе: статья М. Хейфеца о Бродском (первая статья о Бродском в России!), внутренняя рецензия на нее литературоведа проф. Е. Эткинда, самиздатская стенограмма процесса М. Хейфеца, воспоминания некоторых участников и свидетелей - В. Марамзина, А. Володина, В. Ханаана, плюс позднейшие комментарии самого М. Хейфеца, выдворенного после отбытия срока наказания в Израиль.

ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕМЯКИНЫХ СУДАХ

Владимир ХАНАН

(«Время и мы», №140, 1998)

Первый политический процесс, на котором я присутствовал, – был суд над ленинградским прозаиком Владимиром Марамзиным. Писатель сей раздражал власть (помимо своего еврейства) тем, что не только не писал того, что по разумению этой власти требовалось, но и активно писал то, что не требовалось. Пределом же его падения оказался факт передачи им – прозаиком Марамзиным – своей рукописи на Запад. Обнаружена ли она была бдительной таможней или передатчики с самого начала работали на КГБ (как говорили в судебных коридорах), но так или иначе роман Марамзина «Блондин обеего цвета» оказался перед главным читателем и главным, что еще более важно, ценителем литературной продукции страны.

Мы, разумеется, знали об этом из передач «вражеских голосов», и поэтому, когда приятель предложил мне пойти на суд, я немедленно согласился. Нам не было любопытно. Что власть глупа и подла, мы знали и без посещения подобных мероприятий и знали, что от нее можно ожидать. Наше присутствие на суде рассматривалось нами как протест против советского произвола и – во-вторых – как некая акция солидарности с подсудимым, ибо мы считали, что ему будет приятно и в каком-то смысле даже будет поддержкой присутствие нескольких нормальных лиц среди десятков согнанных сюда гебистов, стукачей и профессиональных комсомольцев. А то, что наши лица будут различимы на фоне тех, а те лица на фоне наших, мы не сомневались. Мы не слишком рисковали, так как находились на социальном дне, откуда перемещать было некуда, и все-таки риск был, ибо Софья Власьевна (советская власть) при всей своей глупости была торовата на подлянки и как всякая дура – непредсказуема.

И вот, наконец, провели Марамзина, закрыв всю публику по боковым комнатам и коридорам, и вот, кажется, уже можно входить в зал. Но не тут-то было: на пороге зала стояло некое должностное мурло, как позже выяснилось, комендант суда, и, даже не особо стараясь загородить вопиющую пустоту большого зала, объявило: «Зал полон, мест нет!» Но тут, к моему удивлению, ленинградская публика попросту смела упомянутого коменданта, и мы хлынули в зал. После нескольких попыток выдворить нас, судья начала заседание, а комендант занялся своим делом – ходить между рядов и кричать: «Не записывать! Не записывать!»

Некто из неприглашенной публики интеллигентным тоном задал интеллигентный вопрос: «А почему, собственно, на основании какого закона?..» Но тут же был сбит простым, как свинчатка, ответом судьи, заметим, дамы: «А я вот выставлю вас сейчас отсюда, будете знать!»

Я был только на первой половине заседания первого дня (больше ни разу никого не пустили) и ярко помню два эпизода. Судья назвала имя свидетеля, и по проходу прошла женщина, чье напряженное состояние было тут же замечено, но нет – почувствовано всем залом.

Позже мы обменивались впечатлениями: у многих екнуло сердце – идет свидетель обвинения! К счастью, мы ошиблись. Женщина была ответственным работником на Ленфильме, ей было что терять. Позор временам, в которые нужно напрягаться, чтобы просто оставаться порядочным человеком!

На первый стандартный вопрос - где и когда вы познакомились с подсудимым, она ответила так (помню дословно): «О Владимире Рафаиловиче – поклон в сторону скамьи подсудимых – я услышала от писателя Юрия Германа». И все хорошие слова Юрия Германа о Марамзине были аккуратно пересказаны суду. Вскоре в качестве свидетеля в зал ввели уже осужденного Михаила Хейфеца, того самого, чьи статьи я с удовольствием читаю нынче в израильских «Вестях». Никаких показаний против Марамзина он, естественно, не дал, но крови суду попортил, уличив прокурора во лжи, и – уходя – повернулся к скамье подсудимых, поднял руку со сжатым кулаком и сказал: «Но пасаран!», на что судья отреагировала ворчливым: «Могли бы сказать по-русски»...

Я отчетливо помню Михаила Хейфеца в зале суда, ибо это был первый политический заключенный, которого я видел вблизи...

Но вернемся к процессу Марамзина. Судья объявила перерыв. Мы не трогались с мест, справедливо полагая, что во второй раз сюда не войдем. Судья сказала, что не будет продолжать процесс. Мы продолжали сидеть, но ситуация разрядилась неожиданным образом. Гражданин сидевший за моей спиной, чье лицо мы однозначно оценили как гэбэшное, внезапно выхватил из рук своего соседа какие-то листки и вскричал: «Этот человек записывает!» К виновнику бросились несколько той же когорты, схватили его за руки, но его сосед с другой стороны, ярко выраженного еврейского вида, развернулся и смачно вмазал по физиономии одному из гэбистов (отраднейшее воспоминание!)...

ОДНОМЕСТНЫЙ ТРАМВАЙ
(Записки несерьезного человека)
Александр ВОЛОДИН
(Библиотека «Огонек», №11, 1990)

Суды застойных лет. Михаил Хейфец – не кинорежиссер, а учитель литературы и истории, который одновременно и писал книжки об исторических героях, - сидел на скамье подсудимых и улыбался, бодро и комично. А грудь как бы колесом. Ему было неловко перед знакомыми в зале суда, что он оказался в роли судимого народовольца, как бы героя...

Среди свидетелей был очень хороший писатель, молодой. Судья пытался в чем-то уличить и его, припугнуть, припереть к стенке, выставить на посмешище перед простыми хлопцами, которых привели сюда для атмосферы – поготовать в нужных местах над этими, диссидентами.

Дело в том, что подсудимый попытался сочинить предисловие к стихам Бродского, который к тому времени свое уже получил и, как тунейдец, отработал положенный ему срок на скотном, кажется, дворе. (Тогда он еще не был Нобелевским лауреатом.) И вот Хейфец показал как-то черновик своей статьи другу, любимому всеми писателю, который теперь и дает показания на суде. Я понятно объясняю?

- Почему после прочтения статьи вы сказали подсудимому, что его посадят? – спрашивает судья.

- Я выразился фигурально. Если, например, у меня кто-нибудь берет любимую книжку, я могу сказать: «Не вернешь – убью». Но это же не значит, что действительно возьму нож и... И, кстати, могу оказаться провидцем.

Утомленный жизнью мозг судьи буксовал.

- Да о чем разговор-то, - продолжал свидетель, - о статье? Так ее ведь нет, есть черновик, который человек показал - узнать мнение, я высказал ему свои замечания. Закончил бы он свою работу или нет и как закончил бы – неизвестно. Что же говорить о черновике?..

И далее пошел разговор: вопрос-ответ, вопрос-ответ. Человек по интеллекту примерно уровня средневековья (я имею в виду судью), и человек нового времени (я имею в виду свидетеля). И хлопцы, приведенные для гогота над диссидентами, тут, в зале суда, гоготали над судьей! Жаль, не увековечена эта беседа.

Суд неожиданно удалился на совещание.

Михаил Хейфец получил четыре года строгого режима и два – поражения в правах. Думаю, на приговоре сказалась и обида суда на свидетеля.

ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ

**К истории 5-томного собрания сочинений Иосифа Бродского, выпущенного в ленинградском «самиздате» в 1972-1974 годах
Владимир МАРМЗИН
(«Окна», 31 мая 2001 г.)**

*Что делать в стране, покинутой гением?
Пев Посев. "Июнь 1972 года"*

1. Почему Бродский

Сегодня Иосифа Бродского, лауреата Нобелевской премии (1987), знают в России достаточно широко. Поэтому такой вопрос может показаться лишним.

Но в то время — почти три десятилетия назад — он вполне мог возникнуть. Бродский стал известен в результате позорного (для страны) процесса 1964 года по обвинению в тунеядстве. Стихи его привлекали многих, но круг читателей был ограничен. Во-первых, его не печатали. Во-вторых, даже общественные выступления можно пересчитать по пальцам. И, наконец, поэт писал много, стихотворения обгоняли друг друга, он читал их только близким ему людям и не заботился об их судьбе.

Но нам, пишущим, почти сразу стало понятно огромное значение Бродского в литературе. По выражению Игоря Ефимова, "мы успели на ходу вскочить в этот трамвай" — те есть сумели оценить это явление, скорость развития которого безмерно превышала нашу, хотя были мы все на три, пять и более лет старше.

Нельзя сказать, чтобы в конце 50-х — начале 60-х годов в России не было поэтов. Стоит вспомнить Уфлянда, Горбовского, Красовицкого, Кушнера, Еремина, Рейна, уже начинавшегося Лосева, — и это если говорить только о новом поколении. Каждый из нас, особенно в условиях непечатания, ревниво охранял свой мир и вынужден был внутренне считать себя неповторимым и значительным, иначе невозможно писать. Но, конечно же, каждый понимал ценность других и в большинстве случаев осознавал меру таланта каждого.

Уровень мысли, новизна сопоставления понятий, свобода стихосложения, необычность и мощь звучания, широта охвата, связь со всей прошедшей русской поэзией и отзвук поэзии других стран — все это к 1972 году несомненно выделило Бродского как огромного поэта, необходимого каждому из нас в нашем человеческом и литературном существовании.

2. Сбор рукописей

4 июня 1972 года из России был выслан Иосиф Бродский. Мы тогда еще не поняли, что он был первой ласточкой. Началась широкая акция против

неофициальной культуры. Вторым на очереди был А. Солженицын (тогдашнее начальство вполне разбиралось в шкале ценностей). Почти сразу вслед за ним выгнали Максимова. Остальное известно.

Вернусь к собранию сочинений. Когда Иосиф рассказал мне о вызове в ОБВИР и "приглашении" немедленно уехать, на которое он ответил согласием, понимая, что этот период жизни ему закрыли, я попросил оставить нам все написанные стихи. Иосиф дал мне несколько листков и развел руками. Он не хранил своих стихов, не собирал их ни в сборники, ни в папки. "Все тут", — показал он на голову (хотя оказалось, что в памяти далеко не все).

Помню, меня охватила настоящая паника. Я попросил его перепечатать, что помнит, но времени оставалось мало. Я предложил свою помощь, Иосиф заинтересовался, ему, похоже, стало действительно любопытно собрать все написанное. По его совету я обошел общих друзей, и у каждого нашлись подаренные автором, перепечатанные или переписанные от руки листы. Иосиф отличался подлинно русской широтой, щедростью и несобирательством. Он оставлял свои стихи, следы присутствия, молекулы своей жизни у друзей, приятелей и полузнакомых без счета и памяти. Конечно же, он верил, по Булгакову, что "рукописи не горят".

В то время я сознательно не записывал ни имен, ни адресов, чтобы, в случае чего, действительно ничего не помнить и никого не подвести. Поэтому теперь, через столько лет, я мало кого могу назвать. Разумеется, помогали мне Я. Виньковецкий, Я. Гордин, И. Ефимов, Л. Лосев, М. Мильчик - у каждого было немало Бродского. Огромное собрание оказалось у М. Мейлаха, который, увлекшись идеей, начал розыск среди своих друзей, мне не знакомых. Иосиф сам направил меня по нескольким адресам. Однажды он повел меня к Московскому вокзалу, мы обошли его стороной, пересекли несколько дворов и, поднявшись по крутой лестнице, оказались у Рады Блюмштейн, бывшей жены его товарища. У нее было аккуратно перепечатанное, хотя и никак не систематизированное собрание. Многие у меня уже было, другие вещи я видел впервые, да и Иосиф несколько раз вскинулся, увидев забытые им стихи. Единственная беда была в том, что стихи перепечатывались без строгой пунктуации - хозяйке это казалось неважным, что мне потом немало осложнило работу при редактировании вариантов.

Все собранное Бродский прочитывал, пока не пришло нам время его проводить. Мне было радостно видеть, что он завелся, пытается датировать стихи без даты, по отдельному стихотворению вспоминает, что оно из цикла и цикл должен найтись, ставит забытые переписчиком или не указанные им самим посвящения (иной раз только что пришедшие на ум, спустя годы).

Круг друзей и знакомых все расширялся, вышел за пределы Ленинграда, охватил Москву, куда я ездил неоднократно, особенно после высылки Иосифа.

Иосиф в России был беден, как церковная крыса. Он жил у родителей ("полторы комнаты"), которые кормили его. Одевался он, особенно после ссылки, иностранными друзьями (и одевался, кстати, замечательно — лишний повод для ненависти со стороны официальных поэтов и властей). А вот живых денег почти не было. Помню, он был в больнице, и как члену профгруппы при Союзе писателей ему полагалось оплатить больничный лист по среднему заработку. Я, в то время член той же профгруппы, пытался выбить для него эти деньги. Оказалось, что за год (не самый худший) Иосиф Бродский, работая ежедневно над своими стихами и над переводами, как галерный раб, заработал всего лишь 170 рублей (столько в те годы зарабатывал, скажем, инженер — но только за месяц, а не за год). Поэтому на дни рождения друзей, на праздники и вечеринки Иосиф приходил с бутылкой водки, завернутой в стихи. Это могло быть свежее, еще никому не известное стихотворение или "стихи на случай" — стихотворное послание, посвящение, дружеская эпиграмма. Подарок это был бесценный, дороже любых других, хотя автор зачастую извинялся в стихах за скромность подношения ("но двух рублей давно не видя вместе..." - несколько раз повторявшийся мотив). Среди этих посланий были настоящие шедевры. Как правило, адресаты не отказывали мне, давали скопировать дорогие им тексты для собрания сочинений. И это доверие ко мне и к самому делу давало мне новые силы. Я переписывал стихотворения от руки, а потом печатал: копировальная техника тогда в России была недоступна.

Однажды я пришел к Иосифу на Литейный, и он мне выложил стопку "конторских" книг, сплошь исписанных и изрисованных им в ссылке в Норенской. Он настолько проникся идеей собрания, что решил отдать мне на расшифровку эти рукописи (где было, кроме всего, много личного). Почерк был не самый легкий. Первое время я давал ему перечитывать и убеждался, что многого не разобрал или разобрал неверно. Потом я набил руку.

Конторские книги оказались сокровищем. Кроме известных стихов, таких, как "Стансы к Августе", я нашел там множество новых, мне неизвестных, и, возможно, тех, которых был я первым читателем («Инструкция заключенному», "Сокол ясный, головы...", «Сонет» ["Выбрасывая на берег словарь..."] и др.).

Быть первочитателем великого поэта — привилегия и радость, которые перекрывают весь труд и все опасности, с этим связанные.

При знакомстве с конторскими книгами встал вопрос о рисунках. Рисовал он хорошо — еще один признак большого поэта. Мой друг искусствовед Михаил Мильчик предложил мне помощь — он много фотографировал архитектуру и графику для себя, для своей работы. Мы провели с ним десятки часов над конторскими книгами Бродского у меня дома,

на окраине Ленинграда, на Гражданке, где он установил свою треногу с нацеленным вниз аппаратом.

Приближалась дата отъезда Иосифа. В последний день он позвал меня и попросил отвезти в Москву письмо правительству. Оно было адресовано Брежневу и поистине провидчески предупреждало о неизбежном письменном возвращении поэта на родину. Письмо было рукописным, не слишком разборчивым. Посылать в таком виде было невозможно. Договорились, что я перепечатаю его и отвезу в Москву сам (известно, что письма из Ленинграда в правительственные инстанции перехватывались на почте и направлялись в ленинградские органы). Иосиф расписался под чистым листом бумаги, и я, перепечатав текст на этом листе, отвез его в Москву и сдал в приемную ЦК (наверное, не без того, чтобы привлечь к себе внимание). Черновик, если не ошибаюсь, я вернул родителям Бродского.

Предстояло продолжить сбор и составление собрания уже без автора.

В Москве одним из друзей, к которым отправил меня Иосиф, был Виктор Голышев, переводчик английской прозы. У него оказалось немало новых для меня стихов, посвящений, посланий. Он, в свою очередь, перенял эстафету и во многом открыл мне Москву Бродского. Может быть, я сейчас ошибаюсь, но я почти уверен, что переводы английских пьес, сделанные Бродским, пришли от Голышева.

Теперь я знаю, что обошел далеко не всех, что круг общения Бродского был необычайно широк и для того, чтобы дать мне некоторые нити, он должен был раскрыть определенные жизненные секреты, которые предпочел увести с собой.

3. Составление собрания

Вопрос порядка составления возник сразу же. Я много думал о нем и советовался с Бродским. Однако после конторских книг я утвердился в том, в чем практически был уверен с самого начала. Порядок стихотворений должен быть хронологическим. Идея не новая, но верная. При нормальных отношениях книгопродавца с поэтом эта проблема не встает. Автор сам организует стихотворения в книги (или циклы), которые выходят в свет одна за другой, оставляя на обочине лишь небольшую часть произведений — для посмертного включения в том "Неизданное". Но вспомним, что до 1972 года в России было напечатано не более десятка стихотворений Бродского, считая публикации в газетах, детские стихи в журнале "Костер" и даже переводы. Поэзия — не только лирический дневник, но и дневник развития мысли, которое у столь интенсивно думающего человека, как Бродский, не могло не завораживать читателя.

Иосиф согласился с хронологическим принципом. Однако это оказалось не простым делом. Во-первых, многие стихи не были датированы. Во-вторых,

Иосиф, просматривая мои "находки", нередко менял даты под стихами – по ему только ведомым причинам. Иногда проговаривался: "Поставим тут 65, а то М. обидится". Много работы было с циклом "Песни счастливой зимы". Он несколько раз менял состав цикла, порядок стихотворений и некоторые даты (эту работу он продолжил в Нью-Йорке). Некоторые стихи не смог датировать, ставил год приблизительно, пытаясь вспомнить обстоятельства (такие стихотворения я поместил в конце соответствующего года). Бывали случаи, когда он позже, обдумав, уточнял хронологию.

Когда картина начала выстраиваться, я был поражен и взволнован, как, возможно, никогда не был взволнован раньше. Передо мной лежало первое собрание сочинений крупнейшего поэта нашего столетия, без всякого вызова или аванса. И я был первым его читателем.

Основной корпус поэзии занял три тома. В четвертый попали детские, шуточные стихотворения и стихи на случай, пятый составили переводы. Нелегко было решить, что отнести к основному корпусу, а что к стихам на случай, потому что, как я писал выше, среди последних было немало подлинных удач, выходящих за рамки этого жанра. Пока Иосиф был в России, выбор оставался за ним. Потом решать пришлось мне – разумеется, с помощью друзей.

Не обошлось без курьезов. Мейлах раскопал у себя стихотворение, переписанное им от руки и положенное в папку Бродского. Стихотворение удивило Иосифа. "Совершенно не помню", — сказал он мне. Однако и раньше случалось, что он не сразу вспоминал те или другие стихи. "Но это твое?" — спросил я. "Да вроде..." - был ответ. Через два дня Иосиф позвонил мне: "Это же Найман! Это не мое!" Стоит ли говорить, что оно было неотличимо от манеры Бродского.

А вот два стихотворения К. Азадовского так и попали в свод, так Иосиф их и проглядел, принял действительно за свои, и они остались в моем собрании, а потом и в собрании Пушкинского фонда, слепо следовавшем за моим: "Декабрьские строки" ("Пернатые на тоненьких ногах...") и "Лисица не осмелится кружить..." — том I, стр. 379-380. Но об этом я узнал позже.

Можно удивиться, что автор принял чужие произведения за свои (и даже поставил в 1972 году дату под первым из них). Но это говорит, во-первых, о том, как много он работал в то время (впрочем, и всегда), и, во-вторых, о желании многих уже тогда подражать ему. Возможно, конечно, что такой поэт, как Бродский, подмал под себя целое поколение окружавших его молодых (вспомним о Шекспире).

Когда собираешь экземпляры из разных источников, неизбежны варианты и разночтения — от опечатки, меняющей смысл фразы, до авторской правки. Не всегда очевидно, какой текст основной, окончательный, что было поэтом сокращено, что добавлено. Без контакта с автором, без других

рукописей и черновиков можно было полагаться лишь на чутье и помощь (память) общих друзей.

4. Редактирование

Редактор, как бы мы ни содрогались от этого слова из-за нашего несчастного советского опыта, необходим любому изданию. А тем более самиздатскому и к тому же публикуемому без участия автора.

Даже пунктуация составляет предмет постоянной заботы. В разных экземплярах можно встретить различную пунктуацию, а зачастую, как известно, знак препинания совершенно меняет смысл.

Один пример из Бродского: в стихотворении "Пророчество" (1965) в строчках "В Голландии своей наоборот//мы разведем с тобою огород..." до сих пор в разных публикациях слово "наоборот" выделяют запятыми — и получается чушь. Что значит "В Голландии своей, наоборот, //мы разведем..." - т. е. в других странах не разводили? Речь идет о месте на берегу, отгороженном дамбой от континента (от жизни людей), а не от моря - в отличие от Голландии. Таких примеров можно привести немало.

Нужен редактор и автору. Так, мы говорили Иосифу, что в поэме "Post aetatem nostram" (1970) фраза "Большая золотая буква М <...> лишь прописная по сравнению с той..." - лишена смысла, т. к. "прописная" и значит "большая", а следовало сказать "строчная", т. е. маленькая. Он согласился, но, впрочем, махнул рукой и переделывать не стал. Это относится также к строчке "И не тебе в слезах меня пенять" из "Подсвечника" (1968). Л. Посев говорил ему, что надо бы "мне", но Иосиф оставил так — *licentia poetica*.

В другом случае, он согласился со мной и поменял название стихотворения "Семь лет спустя" на "Шесть лет спустя" (1968). Оно начинается словами: "Так долго вместе прожили, что вновь/второе января пришлось на вторник..." - несложная арифметическая выкладка покажет, что такое событие происходит через шесть, а не через семь лет, из-за високосного года, неизбежно падающего на этот период.

Работа эта значительно усложнилась в отсутствие автора. Я запретил себе какие бы то ни было исправления, даже очевидные, кроме явных (т.е. действительно глупых и очевидных) опечаток, а все соображения — и свои, и друзей — решил изложить в примечаниях. Я надеялся и частично оказался прав, что когда-нибудь поэт прочтет их и они помогут ему в окончательной отделке текста.

Как, вероятно, ясно из предыдущего, я перепечатал все пять томов с примечаниями к каждому тому на пишущей машинке. Разумеется, это было сделано постепенно, не за один присест. Поэтому, когда я читаю сейчас, что собрание было подготовлено за полтора месяца (например, в статье Я. Гордина в "Литгазете"), мне хочется поблагодарить авторов, так высоко

оценивших мой талант машинистки. Вся эта работа заняла большую часть 1972-го, весь 73-й и начало 74-го года.

Не следует забывать о корректорской работе. При печати неизбежны опечатки, пропуски, ошибки. Все эти 10 тысяч строк стихов, не считая пьес и переводов, следовало тщательно вычитать. Я вычитывал сам, но за собой не всегда видишь. Просить прочесть другого в условиях тех лет было небезопасно для него. И вообще следовало избегать широкой огласки.

К счастью, было немало настоящих друзей — и моих, и Иосифа. Лев Лосев взял на себя перечитку после моей печати и внимательно вычитал три первых тома. На последние два уже не было времени.

Так был получен исходный экземпляр, который можно было отдавать машинисткам.

5. Издание и распространение

В ходе сбора стихотворений выяснилось, что очень многие друзья хотели бы иметь экземпляр будущего издания. Так появилась идея распечатки в нескольких экземплярах.

"Эрика" берет четыре копии", — пели тогдашние барды. Наши машинистки ухитрялись закладывать под копирку до шести листов. Разумеется, шестые экземпляры были очень слабыми, но их все же можно было читать. Конечно, машинисткам нужно было заплатить, хотя и не много. Поэтому на каждую закладку следовало найти не менее шести человек (у меня было время, силы, желание и — пока что — свобода, но никаких денег не было и в помине, т. к. уже приказано было не подпускать меня даже к поденной литературной работе).

Имен машинисток я не помню, я постарался забыть их сразу же. Тогда, я думаю, они меня за это благодарили, а теперь пусть простят.

Точно так же я попытался вытеснить из памяти имена первых "подписчиков". Помню, разумеется, что среди них были И. Авербах, Б. Бахтин, Я. Виньковецкий, Л. Лосев, который взял и второй экземпляр для своего отца, поэта В. Лифшица, М. Мейлах, М. Мильчик. Всего было отпечатано две закладки, т.е. 12 экземпляров - говорю о тех, которые я сам проконтролировал и вычитал (возможно, вычитывать мне тоже помогали — ведь это очень большая работа).

Чтобы не было обделенных, я старался чередовать разные копии в каждом экземпляре. Не уверен, что равноправие было полностью соблюдено.

В дальнейшем этот процесс продолжался неподконтрольно. Некоторые экземпляры послужили исходными для следующих 4-6 копий - и так далее. Боюсь этих невычитанных экземпляров. Мне довелось увидеть один-два и заметить пропущенные строфы и многочисленные опечатки. Надеюсь, что

нынешние издатели пользуются, по крайней мере, экземплярами из первых закладок.

Ситуация в стране становилась все более напряженной. По слухам, почти всегда в то время достоверным и постоянно подтверждавшимся, ГБ проводило широкую акцию против искусства и литературы (в последнем случае это называлось "борьбой с двумя ящиками", т. е. с теми, кто писал "в стол", продолжая существовать на поверхности за счет честной, но не основной литературной работы). О собрании, несомненно, стало известно в органах (не забудем таких активных стукачей нашего времени, как В. Соловьев).

Вставал вопрос о спасении издания, об отправке хотя бы одного экземпляра на Запад, ближе к автору.

Я знаю, что этим занялся Я. Виньковецкий. Помню, что и мне переснял его на пленки оператор научно-популярной киностудии, где я одно время подрабатывал. Помню, что я принял меры по отправке этих пленок через диппочту. Не могу припомнить ни имени этого оператора, ни путей отправки, ни даже адресатов за границей. Знаю только, что 4 тома благополучно оказались на Западе.

Пятый (переводы), естественно, был последним и запаздывал. Когда он был закончен, я стал искать пути отправки, уже чувствуя за собой слежку, хотя еще не такую настойчивую, как впоследствии.

Писатель Борис Вахтин посоветовал мне обратиться к Вячеславу Иванову, которого он хорошо знал через И. Конрада, своего научного руководителя по китаеведению. Более того, Вахтин четко договорился с ним об отправке этого тома в США на адрес издательства "Ардис", где печатался Бродский.

Я бросился в Москву. Помню, как я ехал через весь город на дачу Иванова. Помню, как он любезно-снисходительно принял меня и клятвенно заверил, что передаст в ближайшее время. Помню еще, что, уходя, я увидел на веранде соседнего дома старую женщину, растянувшуюся в шезлонге (очевидно, время было не холодное. Поздняя осень? Или весна? Возможно, это было после моего обыска, когда я обманул слежку и уехал в Москву, где меня несколько месяцев укрывали друзья - М. Тер-Ованесова, Е. Шифферс, Э. Штейнберг). "Лиля Брик", - кивнул на нее В. Иванов. Зловещее соседство! - подумал я тогда.

Этот ученый с мировым именем не только не выполнил своего обещания, но даже никому никогда не сообщил, что он его не выполнил (а должен был сообщить — хотя бы тому же Вахтину). Когда в прошлом году его спросили о пятом томе уже здесь, на Западе, он ответил грубостью и стал утверждать, что Марамзин не имеет прав на эту книгу, что она принадлежит

наследникам поэта... Я никогда ни на что не претендовал. Пусть отдаст наследникам.

Хорошо, что я не знал об этом, когда меня день за днем допрашивали после ареста и, когда моя единственная забота была не дать им никакой информации о друзьях и знакомых, никому и ничем не навредить даже неосознанно.

6. Попытки предисловия

Когда работа стала приближаться к концу и тома собрания складываться в стопку, я подумал, что неплохо было бы предварить его предисловием, где коротко рассказать о судьбе поэта и описать его творчество, его значение. Разумеется, первые выпуски были для друзей, но я предвидел, что собрание будет расходиться лавинообразно и доходить до читателей, которые о поэте едва слыхали. В этом было, кстати, едва ли не главное назначение всей работы: включить Бродского в живую жизнь русской словесности, не дать ему исчезнуть из литературного процесса на десятилетия, как это было с Ахматовой, Цветаевой, Мандельштамом, Пастернаком, Заболоцким, Введенским, Хармсом.

Работа с языком, проделанная Бродским, не должна была пропасть.

Хочу еще раз напомнить, что издание готовилось в условиях настоящей конспирации, которая действительно была нужна в то время, чтобы никому не навредить. (У нас на памяти был случай с ленинградской машинисткой, перепечатавшей "Архипелаг ГУЛАГ" А. Солженицына, которая покончила с собой после того, как нашли эту машинописную рукопись и протащили женщину через унижительные допросы.) Забавно мне читать сейчас то, что пишут даже близкие люди об этой работе. Встает картина подпольной редколлегии, нелегальной типографии, тайного финансирования. И все потому, что даже друзья знали только малую часть того, что я делал, - и, слава Богу, это позволило многим из них на допросах в КГБ с легким сердцем отговариваться незнанием.

Однако неудобство при этом состоит в крайнем сужении круга общения. Я пробовал заговорить о предисловии с рядом друзей - из тех, кто был хотя бы немного в курсе, но не мог найти необходимого человека. Понятно, что нужно было в очень короткий срок прочесть огромный свод поэтических темпов. Кроме того, требовался некоторый опыт литературной критики, понимание поэзии, умение оставаться в рамках поставленной задачи.

Я продолжал осторожно предлагать разным людям, и вскоре желающие нашлись. Во-первых, Михаил Хейфец, автор исторических и публицистических статей, повестей и книг, человек с легким пером и опытом в области популяризации знаний, неутомимый читатель "самиздата" и тамиздата", с которым мы регулярно обменивались книгами и рукописями, никогда не справляясь друг у друга об источниках.

Хейфец достаточно быстро справился с задачей и принес мне статью под названием "Иосиф Бродский и наше поколение". Я сразу же понял, что в качестве предисловия, как я его понимал, она совершенно не годится. Это было свободное, страстное исследование политических взглядов молодежи 50-х и 60-х годов, выразителем которых провозглашался Бродский. Конечно же, это было преувеличение. Бродский никогда ничьих взглядов не выражал. Это был подлинный индивидуалист - разумеется, остро реагировавший на важные события, конечно, как любой человек, живший во времени, затрагиваемый всем, что вокруг происходит. "У меня нет общего интереса", - пишет он в "Речи о пролитом молоке". Однако дальше, там же: "Но плохая политика портит нравы.//Это уж — по нашей части!" И, тем не менее, отводить ему политическую роль неверно.

Ясно было также, что политически направленное предисловие придавало всему событию роль "революционной" акции. Это было, повторяю, несправедливо по отношению к Бродскому, никак не входило в мои намерения и, конечно же, ставило все предприятие, и так уже неугодное властям, под дополнительный удар.

В те времена в "самиздате" ходили и более "острые" политические тексты. Ведь "самиздат" - это когда ты сам перепечатаешь, переписываешь от руки или фотографируешь (были и такие способы) статьи, книги, документы, которые ты хочешь сохранить для себя, чтобы перечитывать или дать прочесть друзьям, знакомым, своим детям. И для этого ты идешь на риск. В писательской среде риск был все-таки не столь серьезным. Начальство смотрело сквозь пальцы: художественной интеллигенции позволялось чуть больше, чем другим, - так сказать, "по роду работы". Хуже, если ты был негоден. Тогда "самиздат" мог послужить причиной для гонений. Еще хуже, если ты вне этой среды - инженер, служащий, рабочий. Тут для преследований достаточно обнаружения неположенных материалов. Поэтому я не мог соединить статью Хейфеца со стихами Бродского. Тот, кто идет на риск, чтобы получить стихи великого поэта, возможно, заколеблется перед лицом острой статьи, которая комментирует этого поэта.

Я объяснил, как мог, Михаилу Хейфецу свою позицию. Я знаю, что он меня понял, хотя, вероятно, ему было обидно. Тем более что именно эта статья, найденная у него при обыске (что он сам расценивал как неосторожность, забывчивость), явилась главным пунктом обвинения, по которому он отсидел срок в мордовских лагерях.

Недавно (в 2000 году) в Харькове, в издательстве "Фолио" вышло "Избранное" Михаила Хейфеца в трех томах. Я рад, что в приложении ко второму тому читатель может, наконец, прочесть эту статью Хейфеца, извлеченную из архивов КГБ Санкт-петербургским обществом "Мемориал" (с. 198-214). Сам Хейфец живет теперь в Израиле.

Совершенно иная история произошла с другой попыткой предисловия, которое взялся написать ленинградский поэт Игорь Бурихин. У него получилось длинное и путаное эссе о поэтике Бродского, никак не пригодное для предисловия к первому собранию сочинений поэта. Кроме того, было уже поздно, первые тома были закончены и отданы "подписчикам". Про судьбу статьи Бурихина я знаю только, что ее отобрали на обыске, но не инкриминировали. Бурихина вызывали лишь как свидетеля. Теперь он живет в Германии.

Таким образом, пятитомник Бродского пошел гулять по "самиздату" без всякого предисловия, только с моими комментариями в качестве справочного аппарата.

7. Последующие события

Вполне очевидно, что издание такого масштаба не должно было остаться незамеченным. Постоянная слежка КГБ за большинством писателей и за всеми событиями, происходящими в этом кругу, система донощиков, прослушивание телефона, сам характер творческих людей, которым не терпится поделиться с близкими и дальними новым чтением, зависть неталантливых - все это грозило широким распространением слухов и сведений.

Мы старались бороться с этим. Говорили по телефону осторожно, с уговоренными заранее "ключевыми словами". При разговорах в квартире поворачивали диск телефона и вставляли карандаш. В наиболее серьезных случаях разговаривали в ванне, пустив воду и понизив голос, а то и переговаривались записками, тут же сжигая их.

Когда нам доводилось бывать в Москве, московские диссиденты смеялись над нами. Говорили, что в любом случае эти методы не помогают. Технически потешались над карандашом в телефоне. Уверяли, что мы не представляем для властей никакого интереса. Помню, что один только А. Сахаров, когда я рассказал ему об этом, не смеялся, а понимающе кивал головой.

Дальнейшее показало, что все это было не зря. У меня при обыске нашли лишь пачку черновых листов стихов Бродского, перепечатанных на моей машинке. После ареста, в ходе допросов выяснилось, что им не удалось найти ни одного тома издания - ни у "подписчиков", ни у машинисток, ни у друзей, несмотря на слежку за мной и за несколькими обладателями собрания, несмотря на подслушивание телефонов, в частности, моего, о чем мне официально объявили после ареста. Лишь у одной машинистки, при обыске по другому делу (Файнберга), нашли копируку со следами стихов Бродского, но и она ни в чем не созналась. Не "раскололся" вообще никто из допрашиваемых. Стукачи своей работы не выполнили. Дело по обвинению в издании поэзии Иосифа Бродского грозило провалом.

Тогда набросились на кого могли. Михаил Хейфец, давший прочесть свое предисловие нескольким знакомым (в том числе одному несчастному доносчику, стучавшему не по личному почину, а под угрозой, - Бог ему судья!), был арестован, судим и отправлен в лагерь.

Мое дело через пару месяцев после моего ареста переквалифицировали и вместо обвинения в издании Бродского предъявили обвинение в "создании и распространении произведений (моих), порочащих советский общественный и государственный строй".

Дело о Бродском было решено закрыть, чтоб не опозориться из-за отсутствия материалов. Наша осторожность оказалась не напрасной.

Интересная подробность. После выхода из тюрьмы мне вернули материалы, которые не инкриминировались, в том числе упомянутые черновики стихотворений Бродского. Гэбэшный карандаш прошелся по тексту, кое-где отчеркнул крамолу. Помню, особого возмущения (восклицательного знака) удостоились четыре строки из юношеских "Стихов о Сереже Вольфе, который, по слухам, пишет для Акимова"(1958): "...я замышляю написать пьесу//во славу нашей//социалистической добродетели,//побеждающей на фоне//современной мебели". Малограмотный чекист, увы, не знал, что это цитата из полного собрания сочинений Маяковского.

А вот другие строки, обращенные к чехам после советского вторжения и совершенно недвусмысленные, явно проглядели, не поняли:

*...за наш позор, за вашу славу
скрестим со сталью вороненой
хрусталь Богемии гранёный.*

Я говорил своим следователям на допросах, что им будет стыдно за все это дело. Они мне не верили.

Не знаю, знакомо ли им чувство стыда, но сейчас кто же не почитывает Иосифа Бродского, лауреата Нобелевской премии, поэта-лауреата США, у кого же не стоят на видном месте его книги? Он стал широко и бесповоротно моден в этой стране, которая протащила его через унижения и укоротила ему жизнь. В стране, не имеющей на него никакого права, где наверняка еще жив вологодский конвой, ставивший поэта "на четыре кости", голым, в нетопленной камере, на положенный этапникам обыск. Моден наравне с французской косметикой, туалетами от Гуччи и мобильным телефоном. Не знаю, как там насчет чтения, но не слышать о Бродском, не побывать по случаю юбилея на его могиле в Венеции уважающий себя новороссиянин не может.

Впрочем, поэт смотрел далеко вперед. "И с посмертной моей правотою..." - писал он еще в 1962 году, в возрасте 22 лет.

Париж, 2000 – 2001

**ВОТ ТА СТАТЬЯ – ПРЕДИСЛОВИЕ,
КОТОРАЯ БЫЛА ИНКРИМИНИРОВАНА МИХАИЛУ ХЕЙФЕЦУ**

ИОСИФ БРОДСКИЙ И НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ

Михаил ХЕЙФЕЦ

Взаимное непонимание людей двух миров, раскинувшихся по разные стороны «железного занавеса», – одна из самых увлекательных проблем для будущего социального психолога.

Даже наиболее эрудированные западные политики и советологи, когда берутся судить о советских делах, выглядят в нашей стране наивными людьми, обладающими поразительно интересной информацией, но в то же время неспособными правильно почувствовать суть элементарных для советского жителя проблем. (Об этом верно и точно писал А. Амальрик, «заговорившая рыба». Вероятно, работы советских американистов оставляют у их американских коллег подобное же впечатление, так же, как работы наших германистов – у немцев и т. д.)

К слову, неверно объяснять это явление лишь разными социальными установками авторов. Чаще всего непонимание чужой страны, чужой культуры не осознано ими самими: оно – дополнительное свидетельство коренного различия духовных фундаментов двух миров – Запада и Незапада.

Почему я вспомнил об этом в заметках, посвященных творчеству Иосифа Бродского?

Десять лет назад по нашей стране прокатилась волна новой «чистки»: разоблачили еще одну группу ревизионистов в составе И. Эренбурга, Е. Евтушенко, Э. Неизвестного и других деятелей культуры. Сегодня уже ясно, что Никита Сергеевич Хрущев, коллега де Голля и Эйзенхауэра, решил тогда утвердиться в роли судьи живописи и кинематографа, чтобы иметь возможность откупиться от другого коллеги, Мао Цзе-дуна, головами заранее подготовленных для убоя «новомировцев». Комбинация не удалась: в качестве аванса Мао потребовал головы самого Никиты Сергеевича, а тому такая цена, естественно, казалась чрезмерной... Но время было тяжелое: прошел «исторический» пленум правления ССП, где воедино сливались голоса Софронова и Айтматова (Бог его прости!). Тогда-то одна из советских газет («Комсомольская правда», если не ошибаюсь) поместила информацию, порочившую Евтушенко: этот поэт, по признанию американских газет, потому интересуют Штаты, что представляет собой своеобразную модель человека, который лет через десять будет стоять у руля советского государства.

До сих пор кажется невероятным: неужели американцы всерьез могли так думать?

Нелепо само предположение, что лет через десять Советским Союзом будут управлять молодые люди, ровесники Евтушенко, – любому советскому человеку ясно, что во главе КПСС могут (в силу системы прохождения лестницы штатских чинов) находиться только старцы. Вдвойне нелепо, что вообще у власти могут оказаться люди типа Евтушенко, то есть имеющие определенные, хотя и шаткие общественные идеалы. Втройне нелепей – и это главное – выглядит попытка судить о развитии поколения молодых людей по такому поэту, как Евтушенко.

Последнее утверждение не надо рассматривать как попытку обидеть или унижить Евгения Евтушенко. Он – полезный и по-своему честный поэт, который продолжает в поэзии линию, начатую Рылевым, продолженную Огаревым, Курочкиным, Демьяном Бедным, Маяковским 20-х годов. Политическая злободневность, искреннее желание выразить мироощущение сегодняшнего прогрессивного человека, народолюбие, сопряженное со страстью трибуна, поиски прямого контакта с читательской, особенно молодежной аудиторией.... Такие поэты нужны России, и пусть в них кидает камень кто-нибудь другой. Но, что спорить, не по ним проходит стеновой хребет русской поэзии, не по их стихам современники и потомки судят о духовной жизни поколений, не они закладывают главные камни в фундамент культуры, на который и по сию пору опирается любая человеческая жизнь в нашей стране.

Главная линия – от Пушкина к Лермонтову, через Тютчева к Блоку, Маяковскому в его вершинных творениях, к Цветаевой, Пастернаку... В наши дни эту главную линию продолжил не Евтушенко. Фамилия поэта, наследующего лиру великих, – Иосиф Бродский. Именно по его творчеству можно судить о росте и саморазвитии поколения российской молодежи, по его стихам можно прогнозировать ее дальнейший путь на переломе истории.

Десять лет назад, когда имя Евтушенко было на устах у всех, у врагов и друзей, истинную цену другого поэта, не напечатавшего ни одного стихотворения, знал только круг его ленинградских друзей. Ныне перед нами – его первое собрание сочинений, и каждый, кто любит поэзию, сможет сам оценить масштаб дарования Иосифа Бродского.

* * *

Наследник лиры великих...

Не слишком ли щедры мои авансы и эпитеты?

Я убежден – Иосиф Бродский, как никто другой, выразил в своих стихах духовный путь целого поколения молодой России. Обо всех нас будущий историк сможет судить, читая тома его сочинений, так же, как о

поколении наших старших братьев и друзей он судит ныне по романам Солженицына.

Самозабвенным голосом Иосифа Бродского кричали в мир, в века все – великое множество граждан России, которых ни он, ни я, никто из нас не знает и не может узнать никогда.

Удивительно, что при этом он вовсе не старался быть актуальным, откликающимся на то или иное событие, которое волновало его сверстников (включая процессы 60-х годов или ввод войск в Чехословакию), не пробовал казнить власти Ювеналовым бичом и глаголом жечь... Помню, мы встретились с ним году в шестьдесят втором на Д-65 (круглосуточном телеграфе в центре Ленинграда) и пошли вместе прогуляться по ночному Невскому – было часа два ночи. Я спросил, почему он не пишет стихов о политике, он ответил: «Зачем? Советская власть – мелкий факт в мировой истории, а меня интересуют коренные вещи». В сущности, это совпадало с недавно высказанной им позицией: «Я никогда ничего не писал «анти», как никогда не писал «за». Видимо, он искренен в своем отрицании политики как предмета собственной музыки, хотя это – искренность самообмана.

Неужели он в самом деле не понимает, что был «анти» одним фактом своего существования? Самым фактом существования поэта? Неужели не понимает высокую справедливость своего старшего современника Пастернака, который так определял социальную функцию «вакансии поэта»: «Она опасна, если не пуста»?

Бродский занял опасную вакансию по праву рождения («Я думал – это от Бога», – скажет он на суде через несколько лет), но чтобы удержать ее, от него требовалось самопожертвование, тем более трудное, что оно было неярким, неэффективным. Ему не требовалось идти на костер, но, например, обязательно надо было отказаться от самой мысли о напечатании своих стихов, о существовании в качестве профессионального поэта. Надо было жить, полагаясь только на силу внутреннего самоощущения, и в то же время знать, что слава, признание, деньги – рядом, стоит лишь нагнуться и взять их. И нагнуться-то можно было без особых подлостей и даже с некоторой общественной пользой, – в конце концов, пример хотя бы Андрея Вознесенского доказывал, что это вполне возможный путь. Бродский же предпочел оставаться в графоманах, тунейдцем, едва не попавшим в психиатрическую лечебницу (он не угодил в нее только благодаря принципиальности В. С. Толстикова, пожелавшего воздать негодяю-поэту полной уголовной мерой. Конечно, и опыта у руководителя областной парторганизации тогда было поменьше).

Если бы Бродский сделал хоть шаг навстречу печатному слову, он бы, возможно, погиб. Вместо Бродского писал бы другой, «внутренний редактор», который лучше него знал, о чем можно писать, о чем нельзя, а

главное, о чем нужно. Впрочем, в самых первых его стихах еще можно ощутить желание писать, как все, желание напечататься:

Выпьем за наши дороги,
Пройденные вчера,
За промокшие ноги
И за тепло костра,
За небо ночей бессонных,
За грузные рюкзаки,
За преданных нам девчонок,
За будущие стихи.

Это ведь столь модные некогда «геологические» мотивы. Еще более «проходимыми» считались военные стихи типа:

И вечный бой.
Атаки на рассвете.
И пули, разучившиеся петь,
Кричали нам, что есть еще бессмертье...

Казалось, Бродский мог писать о том же, что Куклин, Кобраков, Агеев и масса других рифмоплетов, вторгавшихся в поэтические рубрики журналов, и не хуже них... Но нет! В решающий момент возникала строчка, завершающая вышеприведенную строфу: «А мы хотели просто уцелеть» – и стихотворение не могло заинтересовать ни одну редакцию. Поэт – человек, и ничто человеческое ему не было чуждо: гладиаторы в его стихах признавались, что искали не только истин, но и богатства римлян – оказалось, что не надо ждать ни истин, ни богатства. Будет только смерть на арене. Он рано понял это.

Может быть, ему почудилось, что смерть уже пришла, когда его арестовали?

Процесс Бродского был, если не ошибаюсь, первым процессом подобного рода и по фантастичности ситуации не знает себе равных. Весь мир, включая даже литераторов-коммунистов (что тогда было в новинку), протестовал, негодовал, удивлялся. Более того – протестовал даже командор черной сотни, именующий себя поэтом, Н. Грибачев: слишком уж абсурдным казалось обвинение поэта в... тунеядстве, затронуты были «профсоюзные» интересы. И все-таки, когда думаешь об этом деле теперь, понимаешь, что, вопреки всем протестам, власти города Ленина были со своей точки зрения абсолютно правы.

В самом деле, разберемся, за что арестовали Иосифа Бродского на самом-то деле?

Существует Союз Советских писателей. Официальной особенностью этой организации является объединение литераторов, пользующихся методом социалистического реализма, в пределах которого можно – это даже и рекомендуется – иметь «собственный голос». Но сердце, которое диктует этому голосу, должно принадлежать Коммунистической партии. Кажется, я

ничего не напутал в этом главном теоретическом и методологическом вопросе советского литературоведения. Бродский решил сохранить монополию на обладание собственным сердцем за собой. Уже одно это считалось идеологической диверсией.

Но уголовным преступлением это еще не было. Уголовным преступлением являлось то, что сердце оказалось достаточно широким и сильным, чтобы увлечь за собой другие сердца. Не будучи членом Союза писателей, ни даже обладателем институтского диплома, этот человек в двадцать лет был известен и дорог сотням, а потом и тысячам людей, и популярность его росла с каждым новым стихотворением. И это в то самое время, когда Лениздат корчился от убытков, выбрасывая груды макулатуры на прилавки поэтических отделов в книжных магазинах (например, тонны стихов лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического труда, председателя Ленинградского отделения Союза Писателей А. А. Прокофьева – гигантскими штабелями они высились повсюду в течение нескольких лет, пока их куда-то не убрали с книжных прилавков – только не к покупателям), когда руководителям издательств, чтобы покрывать недостачи от издания поэтических любимцев обкома, приходилось переиздавать «Королеву Марго», «Двух Диан» и сборники третьеразрядной фантастики! Мог ли подобный человек, подобный поэт быть терпим в благоустроенном обществе? Самым фактом своего пребывания в городе Ленина он бросал вызов законному праву обкома партии выбирать и отделять хороших поэтов от плохих, он ставил это право под сомнение. Более того, об обкоме он не задумывался! Но завтра какой-нибудь инженер или конструктор, или спортсмен тоже мог решить, что сможет обойтись без обкома? Между тем, вопрос о компетентности руководства или, по официальной терминологии, о руководящей роли партии был одним из самых острых общественных вопросов той поры. Если Бродскому, который в парторганы даже являться не захотел, не то что покориться, позволить занять общественный авторитет, то где гарантия, что он не использует этот авторитет во вред общественному порядку? Авторитет, не дарованный властью, всегда был в советской республике главным общественным преступлением. В конце концов, даже великий режиссер В. Мейерхольд или великий ученый Н. Вавилов были казнены только за это! Ни Н.С. Хрущев, ни Л.И. Брежнев не имели права на такую привилегию, какой обладал некто Бродский... Поэт ставил под сомнение главные законы, выработанные в обществе ценой огромных усилий и жертв 1917–1937 гг. и с тех пор бывшие незыблемыми. Нет, его арест не был ни глупостью властей, как считают многие до сих пор, ни их ошибкой, так же, как таковой не являлась впоследствии его высылка с территории Родины: по их меркам он, действительно, был преступником. Иное дело, что судебный процесс развивался не так, как был задуман (если он, действительно, кем-нибудь задумывался. Возможно, однако, что там, где мы мудрим и отыскиваем

причины, налицо обыкновенная халтура и полная бездарность лиц, заполняющих следственные органы). Но если процесс действительно обдумали заранее – предположим – то власти, конечно, считали, что при обыске у Бродского найдут кучу стихов, наполненных вульгарной антисоветчиной (типа «Долой Хрущева»). Эгоцентрично чувствующие люди, сидевшие в Смольном, были искренно убеждены, что они есть центр мироздания, что поэт может размышлять исключительно про их право занимать руководящие должности. Правда, прямых улик об этом не поступало от секретных агентов. Но, как я думаю, стоило Бродскому на одном из домашних чтений «Шествия» объявить: «Сейчас я прочитаю антисоветскую песенку» (может быть, песенку Хора из 2-й части?), как начало процесса было предreshено. Процесс, с одной стороны, должен был прилунуть всех тунеядцев, «свободных художников», желавших отстоять свою духовную независимость хотя бы и в крайней бедности; с другой, он должен был лишний раз продемонстрировать, что теперь не 37-й год, что даже поэта-антисоветчика будут судить всего лишь за уклонение от общественно-полезного труда – этаким современным «гуманизм»!

План был сорван (опять оговариваюсь – если он существовал, ибо, в конце концов, Бродский был слишком мелкой сошкой, чтоб на него обязательно тратили умственную энергию те немногие деятели ГБ, которые мыслят, составляя следственную игру) – сорван благодаря тому, что у Бродского не нашли того, чего у него не могло быть – антисоветских стихов. Куда больше, чем деятельность ленинградского обкома или даже ленинского ЦК, его интересовали в это время проблема овладения эпическими жанрами, проблема построения современной поэмы, проблема создания нового языка.

Все, кто читал запись судебного заседания, сделанную Ф. Вигдоровой, наверняка поражались потрясающей беспомощности свидетелей обвинения. Каждый из них начинал выступление словами: «Я лично не знаю Иосифа Бродского», – но секрет заключался в том, что по сценарию все показания должны были, конечно, продолжаться цитатами из крамольных стихов и заканчиваться естественным призывом: «Автору таких стихов не место в нашем прекрасном городе». Между тем, ни таких стихов, ни даже обещанной самим Бродским антисоветской песенки обнаружено не было, по причине, как мы теперь знаем, фактического их несуществования. На приговор, естественно, это влияния не оказало – «Судьи скажут то, что им прикажут, вот что судьи скажут», как пелось в старинной частушке, но судье, наверное, было неприятно: как-никак, в отличие от человека, вынесшего приговор, она числилась юристом...

Теперь перед нами лежит полный цикл всего, что могло храниться в засекреченных даже от самого подсудимого материалах дела, – то есть первый том лирики Бродского. Это исповедь сына времени, с его характерным атеизмом («И значит, не будет толку от веры в себя да в Бога... И значит

остались только иллюзия и дорога»), с его добротой, осознанной как цель собственной деятельности, с принятием мира, в который явился счастливый от великого Божьего дара юноша:

Гляди на меня, Селена,
И думай, что я – хороший,
Что я везучий, зрячий,
Не маюсь, не распинаюсь...
Над непонятым, милым
И объективным миром.

Несмотря на ироническую интонацию этих стихов, они вполне серьезны. Тут проявилось то свойство молодого человека, о котором верно сказал Маяковский: «Когда он размяк от чувств, ему свойственно прикрыться словом поглубже». Бродский стесняется своего восторженного открытия мира, своего непобедимого романтизма, и потому – «все кастрюли кричали о принятии мира».

Правда, у этого романтизма с самого начала была необычная особенность: его питали не грезы, не порывы в будущее или уход в облагороженное прошлое... Поэтическую страсть Бродского вызывала «материя времени, открытая петухами», чудо разнообразия мира – «шорох ситца и грохот протуберанца», чудо обычных человеческих чувств, открываемых заново: «Нам нравятся складки жира на шее у нашей мамы»... Собственно, даже его атеизм вырастал из удивления перед чудесами Божьего мира – именно того, который существует на «не проклятой, не грешной» земле:

Да. Он никогда не созерцал Бога
ни в себе,
ни в небе,
ни на иконе,

Потому что не отрывал взгляда
от человека и дороги.

(«Стихи об испанце Мигуэле Сервете, еретике...»)

Казалось бы, такой поэт в принципе мог удовлетворить разные начальства: это ведь вроде бы атеист, оптимист и добряк... Но Иосиф Бродский был даже не непримирим с ними, а попросту несоизмерим – жил в другом измерении и тогда, когда писал о том, что дозволялось. Писал, например, о еврейском кладбище – в принципе о евреях писать можно, Евтушенко написал «Бабий Яр» и А. Кузнецов тоже, хотя это и было неприятно начальству, о чем Никита Сергеевич со свойственной ему прямоотой объявил городу и миру – но все-таки писать о жертвах нацизма можно, а писать просто о евреях – ну, все равно, что говорить в доме повешенного о веревке. Самое «принятие мира» было совсем не тем принятием, которое нужно советскому поэту, ибо принималась и воспевалась «данность с убогими ее мериллами», и само удивление перед ее чудесами подозрительно попахивало все-таки

«боженькой», ибо удивлялся поэт не делу рук советского человека, спутнику или сверхГЭС, а, например, тайне жизни и смерти... И доброта его обращалась на маленьких людей, ничем в обществе не выделявшихся, – на умирающую соседку или новобранца-товарища. Оптимизм его тоже был оптимизмом творческой личности, обуреваемой своей мощью, упивающейся красотой поэтических страстей, – но при этом поэт вовсе не заблуждался насчет жестокости мира, в котором жил – оптимизм оказался лишь декларацией собственной духовной непобедимости перед лицом тех, кто «стучит, забивая гвозди в прошедшее, в настоящее, в будущее время».

Еще до наступления тюремно-ссылного периода в развитии мировоззрения и мироощущения Иосифа Бродского можно заметить определенный перелом. Творчество этого периода мне лично казалось наиболее чуждым из всего, написанного поэтом. Сейчас, перечитав его стихотворения и поэмы, я остался при прежнем мнении. Повторяю, это глубоко личное мнение, позволительное тому, кто дерзнул взяться за эти заметки, не имея возможности прочитать ни одной строки, посвященной Бродскому (за исключением предисловия составителя). Бродский всегда был поэтом, пробовавшим с необыкновенной жадностью в мире поэзии все: от романтизма уходил к мистицизму, от лирики к эпосу, тематика его произведений поистине безгранична – от библейских сюжетов до «дебюта» ленинградской студентки... Не все казалось в одинаковой мере близким верным поклонникам его дарования, хотя все испробованное и исследованное было, видимо, необходимо самому поэту. Если говорить о новой интонации, появившейся в его лирике где-то в 1961 году и продолжавшейся на протяжении почти всего периода, охваченного вторым томом (в те годы появление этой интонации связывали со сближением Бродского с кружком ленинградских поэтов, группировавшихся вокруг Евгения Рейна), то главным ее моментом представляется, пожалуй, переход от юности к зрелости. Юношеское доверие к миру (отнюдь не исключаящее протеста и поиска – наоборот, предполагающее их) сменяется теперь анализом реальной, иногда непосильной сложности и тяжести человеческого бытия. Понимание того, что мир не черно-белый, что он делится не только на «нас» и «тех», что испытания, уготованные человеку судьбой, куда страшнее, чем детское «пальто на рыбьем на меху» и даже чем то, «почему некрасивых не любят», что между человеком и миром проходит, не огибая его близких, бездна незнания – все это породило новую лирику Бродского. Возникает тема одиночества, возникает «ювеналов бич», но не враги, а свои попали под его горькие удары («Феликс»). И еще в стихах появляется новая гостья – смерть («Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, на Васильевский остров я пойду умирать»), и появляется тема собственной чуждости миру, и возникает Бог. Слишком велики испытания, назначенные человеку, слишком велика, непонятно велика сила человеческого сопротивления этим испытаниям, чтобы

не склониться перед неведомым, Кто дал слабому такую силу. Когда весь мир против тебя, когда и твоя жалкая плоть против тебя, когда осознаешь, что вопреки себе, своим близким, здравому смыслу и любой мыслимой цели, ты все-таки идешь путем, предначертанным тебе изначально, – тогда неизбежно Бог возникает в человеческом сознании, даже в том, для которого атеизм – естественная мировоззренческая норма с детского сада.

В области жанра Бродский в эти годы все увереннее идет от лирики к эпосу. Объективный мир, который

жуют его, лизут, пробуют,
проглатывают и лопают,
хватают его и щупают.

Его ковыряют, лапают...

стал изображаться в бытовых подробностях, иногда с умышленными прозаизмами («Было несколько свадеб (кажется, их было две). Десяток рубах и платьев маячили на траве» («Холмы»). Однако, как мне кажется, поиски этого периода дали настоящие и, может быть, самые значительные в творчестве Бродского результаты только в эпоху третьего тома – их воздействия явно чувствуются в «Римском цикле».

Одновременно с работой в области освоения эпических жанров Бродский создает новую языковую культуру, овладевает новыми средствами и инструментальной поэты. «Область поэзии бесконечна, как жизнь, – писал Лев Толстой в письме к Голохвастову. – Но все предметы поэзии предвечно распределены по известной иерархии, и смешение низших с высшими или принятие низшего за высший есть один из главных камней преткновения. У великих поэтов, у Пушкина, эта гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства». Овладение «иерархией» предметов стало полтора века назад возможным для Пушкина в силу того, что, будучи поэтом великой культуры, он сумел сотворить совершенно новый поэтический язык, в котором естественно слились две стихии, начавшие формироваться в предыдущем столетии, – стихия языка ломоносовского, «счастливого соединившего книжный славянский язык с языком простонародья» (Пушкин), и стихия языка карамзинского, с его легкостью, точностью, правильностью оборотов, но одновременно с его маньеризмом и эстетизмом. Язык, созданный Пушкиным, служил и служит основой русского литературного языка, и видимо, он еще на долгие годы останется живым, действующим, может быть, бессмертным. Но для изображения нового, современного мира, многие нормы его оказались недостаточными: гармония предметов в Советском Союзе иная, чем гармония в эпоху декабристов, и она требовала иных средств выражения, иной иерархии. Вот почему, думается, Бродский обратился к пушкинским рудникам слов, к поэзии XVIII столетия. Допушкинский хаос языка в его первобытном разнообразии помог найти материал для того удивительного сплава высокого и низкого «штилей», который с такой завораживающей

точностью передал мироощущение человека второй половины XX столетия, столетия, когда насильственное смешение сословий и культур создало новое общество с новой, еще ждущей оценки историка, культурой.

* * *

21 августа 1968 года стало роковой вехой в духовной истории молодой России. Веха эта, мне кажется, во всей ее громадности не осмыслена не только на Западе (где никто не может понять всю силу воздействия этого события на дух, идеологию, мировоззрения Востока), но и у нас в стране. Мы давно привыкли наблюдать эволюцию в обществе, причем она идет с такой непрерывностью и быстротой, что революционные сдвиги в нашем собственном сознании оказываются незамеченными. «Мы не те, что были вчера, а завтра будем не те, что сегодня», – этот оптимистический лозунг, если не ошибаюсь, А. А. Жданова никогда не получал такого глубокого содержания, как за последние 5–6 лет.

Что произошло с нами после 21 августа?

К этому времени наивных доверчивых юнцов среди сознательно мыслящих советских граждан практически не оставалось. Люди, верившие официальной пропаганде, верили в нее не по доверчивости, а потому, что им – по каким-то причинам личного или социального порядка – выгодно было верить: если бы эта пропаганда не была создана указаниями власти, они бы распространяли ее собственными усилиями. Однако и так называемые оппозиционеры (или инакомыслящие, по терминологии Запада), став проницательными, иногда мудрыми, научившись предубежденности, анализу, обобщению, до этой даты все еще жили и мыслили в контексте духовных ценностей, выработанных марксизмом. («Мы все марксисты, – признавался мне один из них, – даже если опровергаем Маркса. Мы и опровергаем его, пользуясь его терминологией и его схемой мышления. Ничему другому нас не научили».) Самым убедительным доказательством этого тезиса я считаю наличие массы протестов, направленных в правительственные органы в 60-е годы так называемыми «подписантами». Письма пишут тогда, когда верят – даже вопреки доводам опыта – в способность адресата что-то из написанного понять и чему-то научиться. Письма пишут, когда уверены в том, что адресат говорит, по крайней мере, на том же языке, что и отправитель, например, на марксистском. После 21 августа письма этого рода практически прекратились...

Почему?

Человек по-разному относится к чужому мнению, к чужому ходу мыслей. Но если он в них чувствует внутреннюю целостность, внутреннюю логическую согласованность, то, пытаясь понять оппонента, он невольно считается с его убежденностью и пробует убеждать доводами разума, тому понятными. При этом приходится обязательно оперировать на его поле, подстраиваться под логику убеждаемого... Но вторжение в Чехословакию

потому и явилось духовным крахом и величайшим за всю историю марксистско-ленинского учения его поражением, что этим актом оказались попораны, отвергнуты, растоптаны именно те лозунги, идеи, принципы, которые считались моральным багажом самого коммунистического движения. Подробнее этот вопрос не место здесь разбирать и доказывать, но факт, что ранее это была идеология, цельная в шкале своих собственных, не всегда совпадающих с общепринятыми в цивилизованном обществе, но, тем не менее, реально существовавших ценностей. Эта идеология в 1968 году оказалась преданной своими же защитниками и рыцарями ради сиюминутных политических интересов. Совсем не случайно после 21 августа Милован Джилас, самый крупный знаток эволюции марксистских духовных ценностей, объявил, что «мировой коммунизм умер». Вернее было бы сказать – насильственно умерщвлен своими руководителями.

Разумеется, советские обыватели приветствовали вторжение в Чехословакию: ими руководил сложный, но вполне понятный комплекс мотивов, который, видимо, охватывает население любой империи, когда колония, на завоевание и освоение которой были затрачены определенные усилия, средства и жертвы, вдруг начинает требовать независимости. Но масса людей, составляющих ныне большинство населения, никогда не имела убеждений. Ее мнения шатки и неопределенны, она черпает нормы поведения, идеалы, духовные интересы из общения со сравнительно небольшой прослойкой лиц, обладающих даром самостоятельного отношения к миру. Вот почему разрыв этой последней, повторяю, сравнительно небольшой общественной группы, разрыв со всякими нормами господствующей социальной идеологии после 21 августа в очень короткое время привел к катастрофическим последствиям. Государство, еще пять лет назад выглядевшее «вполне жизнеспособным», по словам прагматически мыслящих иностранцев, пережило полную, абсолютную девальвацию моральных ценностей, которая в свою очередь неизбежно вызвала экономический застой и политическую импотенцию. В конце концов, всего через несколько лет после набега на Прагу, СССР превратился в державу полуколониального типа, зависимую от расчетливого соперника (возможно, умышленно провоцировавшего советское руководство на активные действия в роковом году).

Последовавший за августом разрыв молодого поколения интеллигенции с традиционными идеалами российского марксизма – с советским патриотизмом, классовым пониманием гуманизма, даже, в какой-то мере, с самой идеей народолюбия в его традиционной демократической трактовке и т. д., а также с представлением о неразрывности судьбы личности и судьбы того общества, в котором личность действует, – все это произошло в известной мере стихийно, самой силой вещей. Все это еще продолжает происходить на наших глазах в разных формах и масках, никем не оцененное,

ником, по существу, не описанное. В этом плане творчество Иосифа Бродского и некоторых иных литераторов его поколения приобретает громадное значение не только для фиксации важнейшего духовного процесса, но и для самопознания России, для верного выбора дальнейшего ее пути.

Бродский являлся и является не «медиумом», одаренным сверхъестественной силой для познания истины, а поэтом, который, как никто иной, чувствует мироощущение своего поколения и выражает его раньше кого бы то ни было и точнее, чем кто-либо из его современников. Он стал голосом своего времени, своего общества, своей эпохи в долгой истории человечества. И потому его эволюция соответствовала эволюции общественной совести, общественного духа России. 1968 год был в его творчестве переломным, обозначил новую и пока самую значительную веху в развитии его поэтической личности именно потому, что это был важнейший год в развитии «молодой России».

Отход от традиционных, впитанных с детства моральных идеалов, не мог проходить просто и безболезненно. Неслучайно первое стихотворение из «имперского цикла», носящее многозначительное название «Anno Domini», вырвано из общего потока стихов о Риме: оно, действительно, иное, переломное по настроению, отличное от той новой позиции, которую Бродский займет после 21 августа. Поэт уже успел ощутить тяжесть разрыва своей судьбы с судьбой Отчизны, но этот разрыв воспринимается им трагически, сама мысль осудить не власть, не правящую элиту (подобное осуждение в принципе привычно и в рамках марксизма, «истинного», «либерального», «с человеческим лицом» et cetera), но осудить Родину, нацию все еще слишком тяжело для него:

Отчизне мы не судьи. Меч суда
Погрызнет в нашем собственном позоре.
Наследники и власть в чужих руках...

и далее следует обращение к птицам:

Пускай летят поэтому в Отчизну,
Пускай поют поэтому за нас.

Но революционный процесс, сокрушивший после 21 августа 1968 года традиционные марксистские ценности, сделавший звание советского гражданина клеймом позора, не мог не наложить печать на творчество современника. Марксизм начался в 1848 году с поэтически мощных аккордов «Коммунистического Манифеста»: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Спустя сто двадцать лет его провожали в свежую могилу сатирические припевки из «Письма к генералу» Иосифа Бродского:

Генерал! Ералаш перерос в бардак.
Никогда до сих пор, полагаю, так
Не был загажен алтарь Минервы...
И сюда, я думаю, нас завела,

Не стратегия даже, не жажда братства.
Лучше в чужие встревать дела,
Коли в своих нам не разобратся.

Наши пики ржавеют. Наличие пик
Это еще не залог мишени.
И не движется цель наша дальше нас
Даже в закатный час.

Бродский понимает: он не одинок в своем разрыве с «великим блефом»:

Я не солист, но я чужд ансамблю.
Вынув мундштук из своей дуды,
Жгу свой мундир и ломаю саблю.

Спустя год он сформулирует подспудное, еще почти никем не осознанное, но неотвратимо надвигающееся общественное предчувствие:

Зоркость этих времен – это зоркость
к вещам тупика.
Не по древу умом растекаться пристало пока,
но плевком по стене.

И не князя будить – динозавра.
Для последней строки, эх, не вырвать
у птицы пера.

Неповинной главе всех и дел-то,
что ждать топора

Да зеленого лавра.

Это безнадежное предвидение надвигающейся катастрофы, парализующее волю к активному сопротивлению, но и делающее несокрушимым сопротивление пассивное, породило появление на свет лучшего, на мой взгляд, из последних произведений Бродского – обширного собрания «римских» стихов.

* * *

Появление темы «империи» в творчестве Бродского невозможно не связывать все с тем же роковым августом 1968 года. Мысль об отечественном империализме до этой даты была чужда общественному сознанию России: может быть, потому, что империализм по традиции воспринимался у нас, как империализм времен завоевания Англией Индии, когда метрополия использовала колонию с целью ограбления ее богатств в свою пользу. Справедливо, однако, что СССР никогда не рассматривал отношения со странами-спутниками в подобном плане. И наоборот, общественное мнение России долгое время считало, что страны Восточного лагеря – паразиты на

теле российских народов, «мы всех кормим и на фиг нам это нужно»... Подобный взгляд и до сих пор чрезвычайно распространен в массе великорусского населения: тем, что «из России паразиты всего мира соки сосут», это население объясняет низкий уровень жизни в метрополии.

21 августа как бы открыло нам глаза на империалистическое содержание нашего бытия в мире. Своеобразным отзвуком этого и явилась «имперская» тема в творчестве Бродского.

Поэт не занимался так называемыми «аллюзиями», то есть намеками на современные события, изображая императорский Рим. Конечно, у читателя, знающего подлинную жизнь современной империи, могут возникнуть определенные ассоциации. Например, когда ленинградцы прочтут о строителе Колизея:

Прекрасная акустика! Строитель
Недаром вшей кормил семнадцать лет
На Лемносе. Акустика прекрасна...

они не могут не вспоминать известную в городе Ленина легенду о том, что строитель знаменитого «Большого Дома» (КГБ–УВД) во время проектирования и постройки здания был узником заказчика. А упоминание в одном из стихотворений «известного кифареда», который призывает «убрать императора (строчкой ниже: с медных денег)», – это, конечно, ехидное обыгрывание патриотического призыва А. Вознесенского «Уберите Ленина с денег». Но не в этих «аллюзиях» сила римских циклов Бродского: наоборот, его стихи поражают человека, знакомого с историей позднего Рима, точным воссозданием имперских нравов, имперской психологии, имперских конфликтов. Естественный сплав «высокого штиля», придающего аромат подлинной древности, и штиля «низкого», приближающего эту древность к нам – будто речь идет о наших соседях по квартирам – этот сплав стал подлинным шедевром русского поэтического языка XX столетия, одним из его замечательнейших завоеваний и открытий. Конечно, «речения» из запаса «низкого штиля» придают римским стихам сатирическое звучание, снижая величественность привычных «имперских образов», но, Боже мой, если бы это действительно была простая и понятная сатира! Даже в образе императора, и в самих гротескных строчках и эпизодах, и в любой карикатуре читатель, знакомый с имперскими нравами не по описаниям официальных панегиристов, но в натуре, узнает виденное, слышанное, изображение отнюдь не заострено, оно в подлинных пропорциях, ничтожное исключительно в силу адекватно точной передачи невероятно ничтожной модели.

Бродский сумел выразить то общее, что свойственно имперскому духу всех времен и народов, – прежде всего, бездуховность чистого политико-административного единства, с его пошлым культом принципсов, с усталым безразличием толпы к этому культу, с ее увлечением «любовными играми» и спортом в качестве суррогата смысла жизни. Разумеется, имперская жизнь, как

любое явление действительности, подвержена развитию и отнюдь не одинакова в разные периоды своей истории. Бродский выбрал тот исторический отрезок, который ему наиболее близок, отрезок, когда имперское насилие уже не в состоянии держаться долее без духовной опоры и начинает на вершине расцвета могущества ощущать бесцельность, пустоту и обреченность дальнейшего существования:

Все вообще идет теперь со скрипом.
Империя похожа на трирему
В канале, для триремы слишком узком.
Гребцы колотят веслами по суше
И камни сильно обдирают борт.
Нет, не сказать, что мы совсем застряли.
Движенье есть, движенье происходит.
Мы все-таки плывем. И нас никто
Не обгоняет. Но, увы, как мало
Похоже это на былую силу.

Возможно, поэт сам не осознавал социальной силы этих стихов, он проникнулся духом древней эпохи, он ощущал ее нерв – все это требовало такой сосредоточенности таланта, что он мог не задумываться над предметами, для него посторонними, существовавшими в его поэзии как бы помимо воли, – исключительно силой того художественного запаса, который поставляла ему жизнь, реалии современности. Но, согласитесь, нельзя все-таки не признать логичности поведения начальства, которое сочло, что после таких стихов, выдававших всему миру главную государственную тайну империи, «секрет отечественного Полишинеля», пребывание Бродского в качестве советского гражданина было совершенно невозможно. Ибо, коли допустить такое Бродскому, то можно допустить всем, а коли всем нельзя, то нельзя Бродскому тоже...

Если говорить о поэтическом мироощущении третьего тома лирики, то оно характеризуется, в первую очередь, поразительно трезвым, лишенным всякой «рассыропленности», красоты и иллюзии восприятием мира, тягуче скользящего к грани катастрофы. Точная фиксация пульса обреченного поколения – вот поэтическая задача, поставленная Бродским самому себе.

В нашей твердости толка
Больше нету. В чести –
Одаренность осколка,
Жизнь сосуда вести.

В «Школьной антологии» эта почти научная, плиниевская фиксация подземных толчков общества (Плиний, рассказывает легенда, остался в Геркулануме, чтобы наблюдать вблизи извержение Везувия, и погиб) достигает кульминации. Порой создается ощущение, что, анализируя судьбы своих школьных товарищей и через них, в «осколке», судьбу поколения сверстников,

поэт теряет человечность, пораженный бессмысленностью, пустотой, трагически безысходной пошлостью, которая господствует над жизнями рядовых обитателей одной из империй. Он сам заморожен собственным холодом:

Кровь моя холодна.
Холод ее лютей
Реки, промерзшей до дна.
Я не люблю людей.
Что-то в их лицах есть,
Что противно уму,
Что выражает лезть
Неизвестно кому.

Это – отчаяние. Отчаяние от духовной неустроенности наших женщин, от «использования класса напрокат» фальшивыми рабочими, от парши, выдрочивания, бессмысленности существования «среднего класса», и над всем этим, перекрывая это – отчаяние оттого, что

Беззвучно распадался Карфаген
Задолго до пророчества Катона.

Отчаяние иногда переходит в цинизм, в нарочитую грубость и жесткость. Но если Бродский всерьез верит в то, что он «не любит людей» – это еще один самообман. Да, он может злобно и несправедливо крикнуть: «Везде дебил, иль соглядатай, или талантливая дрянь» – но он не в состоянии стать равнодушным, стать «над схваткой»: «Когда вблизи кровавят морду, куда девать спокойный взор?» – вырывается невольное признание. И в самый неожиданный момент, сквозь проклятия, сквозь презрение, сквозь неверие, вдруг пробивается непобедимая все-таки любовь к родине, к людям. Покидая проклятую, безумную империю, его поэт-беглец вдруг оборачивается:

В отличие от животных, человек
Уйти способен от того, что любит.

И он – уйдет через границу. Уйдет, бросив с кордона последний взгляд на море: «О, талатта!», уйдет, унося в сердце пронзительную, побеждающую все доводы холодного разума любовь к тем, кто остался в империи – к нашим матерям, которые, подобно матери Швейгольца из «Школьной антологии», страдают и умирают ради своих неповинных, как им кажется, детей, любовь и к их детям, грешным и несчастным, которые трудно живут и для которых, вопреки разуму, поэт просит у Бога прощения и благодати.

* * *

Иосифа Бродского сейчас нет на Родине. Но он жив и творит, и, будем надеяться, ему предстоят еще долгие десятилетия творчества.

Россия – немилостива к своим поэтам. Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин, Маяковский, Цветаева, Гумилев, Ахматова, Мандельштам – и сколько иных, имена их, как говорили в старину, ты, Господи, веши. А Бродский жив и творит. Мы все-таки живем в счастливое время, если сохранили России такого поэта.

Немного, видно, дано нам совершить. Но все-таки, когда думаешь о том, что выходит пятитомное собрание сочинений Бродского, что для него нашелся составитель, нашлись его друзья – помощники в невероятной работе, и главное – есть читатели, те, кто придал этой работе смысл, кто всегда был той землей, в которой коренился Божий дар поэта, – что ж, когда думаешь обо всем этом, можно с законной гордостью вспомнить слова мужественной песни:

И мы не праздно в мире жили!

(1973 год)

РЕЦЕНЗИЯ ПРОФЕССОРА Е. ЭТКИНДА на статью «Иосиф Бродский и наше поколение»

Статья очень хорошая, тем более что первая. Почти все, что писалось на Западе, свидетельствует о справедливости исходного тезиса – «взаимное непонимание людей двух миров», и о необходимости думать и осмыслять только здесь и только нам.

В статье многое осмыслено: позиция И. Б. – не «над схваткой», а мимо политики и с отвращением к ней; отношение к нему властей, для которых он враг, не будучи политическим сатириком; повороты творческого пути И. Б., его реакция на оккупацию Чехословакии; его языково-стилистическая позиция. Однако все эти важные проблемы только намечены – даже в пределах этой статьи они заслуживают развития.

1. Позиция И. Б. То, что сказано на стр. 9, мне кажется неверным в корне – будто бы он интересовался проблемой «овладения эпическим жанром, проблемой построения современной поэмы, создания нового эпического языка», а не «деятельностью ленинградского обкома». В первую очередь его волновали отнюдь не литературные проблемы, а – метафизические; в этом и связь И. Б. с Дж. Донном и английской метафизической поэзией. Смерть и бытие, поэзия и реальность («великий поэт – любил он говорить – это человек, внесший в мир новую нравственную идею»; такого критерия не выдерживают почти все признанные великие поэты). Это очень важно: И. Б. потому и большой поэт, что он, прежде всего, не литератор, а мыслитель о жизни. Профессиональный литератор, ищущий решение «эпической поэмы», как правило – импотент, вроде В. Катаева или В. Брюсова. Большие поэты думали о жизни, а для ее выражения создавали словесную форму. Надо здесь определить его, Б., космизм.

2. Отношение к нему властей. Да, власти его ненавидели и отчасти продолжают. За что? Объяснение слабое, во всяком случае, недостаточное. Прибавим: 1) непонятность всегда вызывает бешенство, презрение, оскорбленность («он меня дурачит! А вдруг там есть какой-то смысл? Тогда он меня одурачил вдвойне!»); 2) асоциальность (кажущаяся – если не считать «Школьной антологии»), нарушающая установленные нормы некрасовской и даже блоковской традиции, отсюда и 3) абсолютная неясность корней – на что это похоже? В памятной русской поэзии – ни на что. В самом деле, связь есть, но с Мандельштамом, а по настоящему лишь с англичанами (Оден, а прежде Донн и метафизики) и американцами. Русский классицизм? Карамзин? Слабые отзвуки. Так вот, непонятность корней ведет к ощущению чуждости, а значит – к враждебности; 4) несовпадение «тезауруса»: что это за триремы, Плинии, легионеры, паланкины, драхмы, гетеры, сатиры, кифареды, гимнасии,

ксенофонты, диоскуры? Известно, что этот наглый мальчишка не имеет даже диплома; откуда он смеет все это знать? А почему я не знаю? Значит, он морочит мне голову, выкаблучивается, строя из себя Пушкина. Пушкин учился в лицее, и он мог знать, что значит – «Меркнут волны Флегетона...» Этот – нахал, а корчит из себя знатока. Повод мелкий, но мне про подобные вещи говорил председатель городского суда. «Ученость» стихов И. Б. его не только раздражала, но даже бесила.

Я назвал четыре причины, их гораздо больше, назвал я не главное.

3. Повороты творческого пути. Чехословакия. Сам И.Б. говорил, что решающее значение для формирования его личности имела Венгрия, 1956 г. Он был юн, но уже тогда определилось все, что автор относит к 1968. Если поэт – чуткий аппарат, он не может не предвидеть. Особенно в том, 56 году, когда правительственный поворот был куда круче и впечатляюще. Подумайте: был XX съезд, была сказана правда, и у всех [подчеркнуто автором] открылись глаза на собственное прошлое и даже на подоплеку своих же побед, и вдруг... С той стороны – петли и бомбы, с этой – танки и автоматы. В дни Венгрии родилось отвращение к империализму, но и понимание безысходности. По контрасту 56 г. был грандиозной встряской, И. Б. прав, ссылаясь на него. А 68? Уже было предано забвению все, сказанное на XX и XXII съездах, уже заткнули в яму зловещее дело Кирова, уже даже расправились с простодушным тираном Н. Х., ну, на этом фоне – танки в Праге удивить никого не могли. В статье 68 год резко преувеличен, и я могу засвидетельствовать: для И. Б. это не было ни переломом, ни даже удивлением; в те дни я видел его постоянно, и он был совершенно открыт и прям. Судьба «мирового коммунизма» его уже не интересовала (если она волновала его прежде!).

4. Языково-стилистическая позиция. Об этом сказано весьма невнятно. Он отправился в допушкинское время – зачем? Его не удовлетворял «пушкинский» язык? Но ведь он, этот язык, уже был перетрясен – Маяковским, Пастернаком, Цветаевой, Мандельштамом. Зачем было так далеко ходить? Нет, дело не в том, а в поисках классической формы, способной противостоять хаосу идей: формы строфы И.Б., особенно строфы «Горбунова и Горчакова» с прекрасной рифмой. Классическая строфа влекла за собой классическую речь. Ведь у него нет верлибра, даже белый стих – исключение. Чем хаотичнее мир, тем строже искусство.

20 янв. 74. Е. Эткинд

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДЕЛА КГБ
Дела Суперфина, Эткинда, Хейфеца, Марамзина
Под редакцией В.Чалидзе
(Изд-во «Хроника», Нью-Йорк, 1976)

От составителя

Уже хрестоматийными стали факты преследований Синявского, Даниэля, Мороза, Солженицына. Достаточно широко известно и о различных притеснениях, которым подверглись писатели Чуковская, Войнович, Максимов, Галич, Некрасов и многие другие. Известно также о жестоких репрессиях против свободомыслящих писателей на Украине. В Грузии теперь под угрозой преследований – Звиад Гамсахурдиа, издающий в Самиздате литературный журнал «Золотое Руно». Давно и систематически преследуются самиздатские журналисты - издатели «Хроники текущих событий».

О многих подобных фактах читатель может узнать из московской «Хроники текущих событий», из издающейся в Нью-Йорке «Хроники защиты прав в СССР» и из других источников.

В этом небольшом сборнике – материалы лишь четырех дел: три из них судебные, два из них закончились жестоким приговором. Литературоведы Суперфин и Эткинд, писатели Хейфец и Марамзин - люди разные по возрасту, по характеру творческих интересов, по сделанному вкладу в культуру, но одинаковые в одном: в том, что осмелились именно свободное слово считать общечеловеческим достоянием, а не слово, проверенное цензором. Материалы сборника – это не только документы о судьбе этих четырех, это еще одно очень выразительное свидетельство о нынешнем положении интеллигенции в СССР. И лицемерие суда, которому Суперфин вынужден был объяснять, что в СССР цензура существует, и верноподданническая фразеология адвоката, который спорит не об обвинении, а лишь о степени раскаяния Хейфеца, и жуткая, 40-х годов атмосфера на Ученом совете при обсуждении Эткинда, и показания свидетеля, который боялся, что ему попадет за чтение «такой статьи», - все это пугающие, хотя и привычные черты современной жизни.

В приложении к сборнику – документы о советской цензуре. Я собрал здесь все, что удалось достать из современных документов. Там же несколько старых документов о Главлите; они достаточно характерны и вряд ли сильно по духу отличаются от современных, нам не известных актов.

В. Чалидзе

ДЕЛО ХЕЙФЕЦА
Запись судебного процесса

Судебное заседание 9 сентября 1974 года по делу Хейфеца Михаила Рувимовича, обвиняемого по ст. 70 ч. 1. Судья – Карлов. Нар. заседатели – Косенко, Карпов. Прокурор - Пономарев. Защитник - Зеркин. Эксперт – Малышева.

В зале человек 25 вместе с явившимися свидетелями. Не явились Емельянов, Е.Г.Эткинд (по болезни), Рубашкин, Левитин и др. Называются фамилии явившихся: Стругацкий, Загеба, Филатов, М. Е. Эткинд и Воскобойников. Присутствующим свидетелям объявляют, что прийти они должны завтра в 11 часов утра, и просят удалиться.

Установление личности обвиняемого: Ф.И.О., возраст, национальность и т. д.

Судья: Как себя чувствуете?

Хейфец (с улыбкой): Хорошо.

Обвинительное заключение: Дело возбуждено 29 марта 1974 года ...будучи антисоветски настроен, с целью ослабления советской власти ... занимался агитацией и распространением заведомо ложных... получил статью Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», изготовил копии и хранил... (заседатель, который зачитывает обвинительное заключение, произносит все свержхрхинеграмотно, искажает всякий раз фамилию Хейфеца, один раз на замечание отвечает «Очень уж трудная!»; а Амальрика называет в лучшем случае «Эльмарик») ... в 1971г. передавал для ознакомления... изготовил и хранил конспект книги «Смоленск при советской власти», хранил у себя на квартире и в журнале «Костер» (заседатель называет обвиняемого «Фельцман» - «очень уж трудно выговорить» («Фейц»)... (Хец, Хес, Фесман)... «Хроника текущих событий» и «Смоленск...» ... переданы были Воскобойникову... изготовил статью «Иосиф Бродский и наше поколение», в которой – клевета, ознакомил с ней Емельянова и Воскобойникова, отдал Марамзину для изготовления и распространения... давал Левитину, Стругацкому, Филатову... пометки Эткинда в статье... марте 74 года передал Загебе книгу Амальрика.

На следствии: На вопрос «Признаете ли Вы себя виновным?» - ответил: Признаю себя виновным в том, что изготовил и хранил, но не с целью ослабления советской власти. Не призывал, не агитировал. Цель – познавательная, знакомил только хорошо знакомых людей. Я антисоветски настроен, но не призывал... В своей статье вместе с другими измышлениями и «звание советского гражданина позорно», «Советский Союз превратился в

предмет ненависти» (Чехословакия)... Емельянов, Воскобойников предлагали исключить антисоветчину из статьи... Хейфец дал на предварительном следствии откровенные показания, чем активно способствовал установлению истины... 30 августа было постановление о предании суду.

- Признаете ли себя виновным?

- Не признаю полностью.

- В чем?

- Признаю, что все эпизоды действительны, но не вижу в них нарушения ст. 70, т. к., совершая все эти эпизоды, я не преследовал приписываемой мне цели. В этих действиях нет состава преступления, не было умысла на подрыв и ослабления советской власти.

Решают выслушать сначала обвиняемого.

Хейфец: Граждане судьи! Вам сложно поверить мне. Я не выворачиваюсь, это не прием, я так считаю! С одной стороны вы, с другой – я, человек, который признает себя инакомыслящим, литератор, разность языков и пр. Я считаю – это правда так! – что произошла следственная ошибка, и еще раз повторяю: все эпизоды действительны, но цель не та!

О моей статье: летом 1973 г. Владимир Марамзин, собиравший академическое собрание сочинений И. Бродского, предложил мне написать статью для этого собрания. Точно ничего о будущей судьбе этой статьи я не знал. Тогда не было мысли, что статья будет политической. Летом я получал от Марамзина тома сочинений Бродского (солдат-конвоир делает Хейфецу замечание – тот слишком жестикулирует), мне не хватило материала для чисто литературоведческого анализа. Сам я статьей был глубоко неудовлетворен: политика задавила литературу. Я хотел посоветоваться со знакомыми людьми – а не пускать статью в Самиздат. Выбрал своего друга и соседа Емельянова (литературовед, член КПСС). Тот резко против, советовал выбросить, говорил дословно, что «политика, как кила, выпирает». Я согласился. Но ведь там дело не в одной фразе, а в концепции. Надо было заменить литературоведческой конструкцией. Емельянов не знал творчества Бродского. Поэтому я показал статью другому коммунисту – Воскобойникову. И он – против политики. Дал прочесть Марамзину, он через месяц вернул. Я сказал ему, что хочу переделать. Взял том Бродского и уехал с надеждой переработать. Но ничего не выходило. Попросил М. Григ. Рольникайте прочесть – она советов не дала, а – «не надо такое писать». Через дочь передал статью Эткинду как крупному специалисту в поэзии, знатоку Бродского. Получил от него письменную рецензию: «Раздел политический не верен по фактам». Узнал от него, от Эткинда, что Марамзин заказал другую статью. Я и положил в стол. Показывал Стругацкому, Левитину, Филатову. Понял после советов свою методологическую ошибку. Показывал не с целью агитировать. Пытался понять свою ошибку и ее исправить. Сам отказался от распространения своего сочинения.

Теперь о хранившемся у меня самиздате. Статья Григоренко – 1967 г., Белинкова (письмо) – 1967 г., «Хроника» - 1968 г., Амальрик – 69 г. ... Вот таков этот «громадный» запас самиздата. С лета 70 г. я порвал с самиздатом и хранил вовсе не с целью распространения. Все три эпизода передачи этих изданий случайны. Я не согласен со всеми взглядами, что высказаны в этих сочинениях. Загребе я дал не три материала, а пятнадцать, там есть и такие, которые «за», и такие, которые «против».

Я не антисоветски настроен. Я – инакомыслящий. Тут недостаток юридической терминологии. Леонид Ильич Брежнев на съезде комсомола употребил выражение - «заблудшие души». Я выступал против отдельных и частных решений в тех или иных вопросах.

- От кого получили Амальрика... до 1984 года?»?

- От Пинскера.

- Сколько экземпляров?

- Один.

- Сколько отпечатали, на чем?

- На «Оптиме», два.

- Какова политическая направленность этого произведения?

(Долгая возня с этим вопросом, каждый раз, как Хейфец начинает рассуждать о произведении, его прерывают и требуют точно сформулированной оценки).

- Ну, это интересное произведение инакомыслящего человека. «Смоленск при советской власти» Фенсода переписал от руки...

Вопросы судьи: Кому, что и когда передавали? О статье самого Хейфеца – где Вы ее взяли? (?!!) Кому давали? Кто эти названные Вами люди? Конкретно – кто друзья?? Ответ – «все». Почему в показаниях на следствии (в признании вины) есть слово «антисоветский», а здесь отказываетесь?

Ответ: Я делал приписку к первому протоколу допроса, делал заявление следователю, подавал письменное заявление, т. е. трижды на следствии заявлял, что я не антисоветски настроенный человек. Может быть, это моя юридическая неграмотность, и надо было делать как-то по-другому, но ведь трижды.

Прокурор: У обвинения с Вами расхождения по существу - об оценке действий. Почему родилась такая статья?

Хейфец: Инакомыслие. Не был согласен со вторжением в Чехословакию, эта мысль сидела, сидела и – выскочила...

Прокурор: А как объяснить, что звание гражданина СССР – клеймо, СССР – предмет ненависти, - это все сказано в Вашей статье?

Хейфец: Но ведь я не пустил статью в обращение!

Прокурор: Родственникам и то нельзя! А что Вам сказали те, кого Вы сейчас назвали (всех) друзьями?? А что сказал Стругацкий? Он сказал: «Тебя посадят - и по семидесятой статье!» А Вы никого не послушали. Зачем?

Хейфец: Я их спрашивал, как исправить. Они, по сути, провели профилактику, если б не это, может быть статья пошла бы по стране, в зарубежные «голоса» и т. п.

Прокурор: Понимали ли Вы сами, что она антисоветская?

Хейфец: Не совсем.

Прокурор: А изменялась ли она? Осталась ли она антисоветской?

Хейфец: Инакомыслящей.

Прокурор: Но ее читали тринадцать человек!

Хейфец: Тринадцать человек, которых не пропагандировали и не агитировали!

Прокурор: Нет, это и была антисоветская пропаганда и агитация, причем настойчивая!

Хейфец: Категорически не согласен, целью показа статьи было ее исправление!

Прокурор: Да самиздат у Вас старый, но распространяли Вы его в 70-х г.г. Признаете ли, что распространяли и что это носило характер антисоветской агитации и пропаганды?

Адвокат (обращаясь к Хейфецу): Мне неясна Ваша мысль. Да, это и есть агитация и пропаганда, но за что, чего Вы хотели? Вы говорите, не было этого, но это было, и меня интересует цель.

Хейфец: Исправить статью – во-первых. О самиздате – я всегда хотел получать информацию.

Адвокат: Но Вы перестали собирать самиздат. Так вот, почему прекратилась эта любовь к познанию?

Хейфец: Я литератор. Моя тема – общественное движение 70-80 г.г. XIX века (судья переспрашивает: «Какого, какого века?»). Отличие историка и литератора – литератор пользуется живой жизнью. Я собирал в этом смысле и самиздат: например, Белинков с его зоологической просто ненавистью к советскому строю интересовал меня как тип. Вот такие нужные мне вещи я и собирал. (**Судья:** «Чего же Вы там собирали?!») Вот я и говорю: Белинков. В «Хронике текущих событий» меня интересовали славянофильские мысли и т. п. К 70-му году у меня собралось достаточно материала, интерес пропал.

Адвокат просит рассказать о литературной деятельности, что и когда писалось и печаталось. Хейфец называет все свои работы, в том числе об Александре Ильиче Ульянове.

Адвокат: Как Марамзин отнесся к Вашей статье?

Хейфец: Отрицательно.

Адвокат: Почему он поручил статью другому?

Хейфец: Понял, очевидно, что я не справился.

Адвокат: интересуется Амальриком, Фенсодом (автор книги «Смоленск...»).

Хейфец: Книга Фенсода цитируется в наших изданиях.

Перерыв

Прокурор: Раз такой профессиональный интерес, так и держали бы самиздат у себя, зачем распространять? Для чего?

Хейфец: Во всяком случае, не с целью агитировать. Ведь я давал читать и взаимоположенные документы: вот, мол, какие бывают точки зрения.

Прокурор: Как Вы относитесь к тому, что совершили?

Хейфец: Сугубо отрицательно. Сейчас бы ничего этого не сделал.

Судья: Почему вдруг так созрели?

Хейфец: До этого не понимал.

Судья: Кто из читавших статью говорил Вас о ней отрицательно?

Хейфец: Все.

Судья: Почему не прислушались?

Хейфец: Я как раз прислушался, иначе мое положение сейчас было бы хуже. Это же черновик, я ведь пробовал исправить!

Судья: Что сказал Вам Пинскер, передавая книгу Амальрика?

Хейфец: «Вот, возьми почитай». Весь мой самиздат от него.

Судья: И все-таки снова задаю вопрос о политической направленности этой книги, что же тогда, по-вашему, антисоветское?

Хейфец: Антисоветское - например, Белинков. Или мой сосед по камере Васильев, которого вы недавно судили и который изготовлял листовки. Книга Амальрика – о войне с Китаем...

Судья: Как относитесь к тому, что произошло?

Хейфец: Не предполагал, не повторил бы.

Судья: Какая у вас квартира? Зарплата Ваша? Жены?

Хейфец: 37 метров, кооперативная, я зарабатываю в среднем 130-140 рублей в месяц, жена – преподаватель хорового дирижирования.

Судья: Так Вы литератор или писатель? (Перед этим Хейфец сказал, что он не член Союза писателей, но состоит в профорганизации литераторов.) Так Вы – литератор, Федот, да не тот!

Перерыв

После перерыва привозят Владимира Марамзина, который сам находится под следствием.

Вопросы, устанавливающие личность свидетеля.

Марамзин: Да, Вы правильно произнесли, Марамзин Владимир Рафаилович... и т.д.

- Какие у Вас отношения с обвиняемым?
- Хорошие, нормальные.

Марамзин заявляет об отказе от дачи показаний. Сначала его предупреждают об ответственности за дачу ложных показаний - от 2 до 7 лет и за отказ от показаний – до 7 лет.

Марамзин: Я хотел бы услышать по отдельности об ответственности за отказ. Мне говорили, что это – до полугода исправительно-трудовых работ.

Судья: Кто Вам говорил? До семи лет.

Марамзин: Я отказываюсь давать показания.

Судья: Чем мотивируете?

Марамзин: Я в сложном положении: я сам обвиняемый, нахожусь под следствием, у меня не очень хорошая память на факты, из показаний Хейфеца, с которыми меня знакомили, я убедился, что мы с Михаилом Рувимовичем по-разному помним одни вещи. Он имеет юридическую помощь, я нет. Я боюсь за свою участь, это естественно.

Прокурор: Я все же хотел бы задать пару вопросов. Думаю, что Марамзин просто не хочет давать показания, ведь ответственность он несет только за заведомо ложные. Попробуйте все же ответить мне. Знаете ли Вы что-либо о статье Хейфеца и что?

Марамзин: Я действительно давал показания на своем следствии и все сказал там. Майор Рябчук мне не доверяет, называет меня «вражина».

Прокурор: Вы просто не хотите давать показания!!!

Марамзин: Нет, я просто опасюсь за свою участь.

Прокурор: Тогда у меня вопрос к Хейфецу: при каких обстоятельствах написана статья?

Хейфец: Повторяет все.

Прокурор: Хотите что-нибудь сказать, Марамзин?

Марамзин: Я помню это не так. Хейфец при встрече рассказывал мне, как относится к стихам Бродского, там были интересные мысли по поводу Державина и пр. Я сказал, что вот хорошо бы это и записать. Не помню, чтобы речь шла о предисловии, не говорил, прочитав, что там политические мотивы.

Прокурор: В каком виде была статья?

Марамзин: напечатана на машинке, но имела вид черновика.

Прокурор: Вы высказывали Хейфецу недовольство статьей?

Марамзин: Редко видимся, не помню, но что-то говорил, некоторое недоумение.

Прокурор: Просили кого-нибудь еще написать статью?

Марамзин: Я и Хейфеца не просил, я собирал написанное.

Адвокат: Вы хотели издать Бродского? Нужно ли было предисловие?

Марамзин: Я собирал все Бродского и о Бродском. При обыске у меня изъяли предисловие от составителя, мое – вот это и есть единственное предисловие.

Адвокат: Были ли еще статьи?

Марамзин: Была статья о русской поэзии вообще, в том числе о Бродском.

Адвокат: А еще были?

Марамзин: Да и не нужно было.

Адвокат: С какой целью Хейфец дал Вам читать статью?

Марамзин: Как знатоку Бродского. А инициатива исходила от меня.

Адвокат: Значит, он начал писать по Вашей инициативе?

Марамзин: Да.

Адвокат: А почему вернули статью Хейфецу?

Марамзин: По его просьбе.

Адвокат: Высказывали ли свое отношение к его статье?

Марамзин: Да, но не о политической стороне.

Адвокат: Что можете сказать о статье?

Марамзин: Вообще читаю выборочно, то, что мне интересно. Могу сказать, что в статье тогда обнаружил ложную мысль - делать Бродского представителем поколения.

Адвокат: Можно ли считать, что факт возвращения статьи Хейфецу свидетельствовал о непригодности для самиздата?

Марамзин: Я в самиздате ничего не издаю.

Вопрос Хейфецу о второй статье о Бродском.

Хейфец: От Эткинда мне стало известно о статье с подписью «Егор Кирк». Тогда я решил, что это вместо моей. Мне показали эту статью на следствии и сказали, что она изъята у Марамзина.

Адвокат: Значит, одна статья была заменена другой?

Хейфец: Я не могу так сказать.

Судья: Вы проработали статью?

Марамзин: Прочитал, но не проработал.

Судья: Как вы ее оцените?

Марамзин: Она была похожа на школьный учебник литературы. Но я не очень хорошо помню ее, у меня избирательная память.

Судья: Что это еще избирательная память? Звонили за рубежом?

Марамзин: Да.

Судья: Когда?

Марамзин: В день обыска.

Судья: В какие страны, о чем?

Марамзин: Франция, США. Вот я рассказал про статью и не хотел бы более отвечать на вопросы.

Судья: Мы не дети! Это не детский сад! А еще институты кончаете!!

Конец заседания

Продолжение заседания – 10 сентября 1974 года

Свидетели Загреба В.А., Стругацкий Б.Н., Стругацкая А.А.
Воскобойников В.М., Филатов Ю.П.

Свидетель Загреба

Судья: Были ли к Вам вопросы на предварительном следствии?

Загреба: Да

Судья: Что Вам известно по настоящему делу?

Загреба: С Хейфецом я познакомился где-то за две недели до обыска у меня, познакомился в доме у моих знакомых. У нас было две-три встречи, в одну из них он передал мне свою медицинскую статью и некоторые материалы, вот, собственно и вся легенда этих отношений, потом было предварительное следствие.

Судья: Знаете ли подсудимого?

Загреба: Если считать 4-5 сеансов знакомством, то знаю.

Судья: Ну, вот и расскажите о Ваших сеансах.

Загреба: Они носили эпизодический, незапланированный характер, иногда это было 4-5 фраз.

Судья: Чем начинали и чем кончали?

Загреба: Начинали «здравствуйте», кончали «до свидания». Один сеанс был более продолжительным – где речь шла о медицинской статье.

Судья: Передавал ли вам подсудимый материалы, какие, когда?

Загреба: Да, где-то в конце марта этого года, папку с какими-то материалами, с которыми я не успел познакомиться.

Судья: Какие материалы, назовите.

Загреба: Медицинская статья, статья Домбровского, письмо по поводу молодых прозаиков, показавшееся мне крайне неприятным.

Судья: Бывали ли на квартире подсудимого?

Загреба: Один-два раза.

Судья: Получали ли от него «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» Амальрика?

Загреба: Не помню, было ли это в папке, так как и не успел ознакомиться.

Судья: А «Хронику текущих событий»?

Загреба: Тоже не помню.

Судья: А Фенсода «Смоленск в годы советской власти»?

Загреба: Не помню.

Судья: А как передавались документы, в папке? В закрытом виде?

Загреба: По-моему, да. Это было не так важно, я не обращал внимания.

Судья: Почему?

Загреба (Хейфецу): Какие передавали документы?

Хейфец: Все не помню, но конкретно все упомянутые Вами были там.

Судья: А зачем передавали?

Хейфец: Это было очень случайно, при второй встрече. Во время первой говорили о медицинских статьях, я предложил Загребе соавторство, дал свою статью, чтобы познакомить его с тем, как я пишу о медицине. При этом из ящика стола вывалился самиздат, мне показалось, что Владимиру Алексеевичу это интересно, я сам отобрал материалы, какие он не знал. Это вышло случайно и непреднамеренно.

Судья: Сколько они у него были?

Хейфец: Видимо, неделю. Как я понял по материалам следствия, они были им уничтожены. Документы там были прямо противоположного характера, никакой цели пропаганды не было.

Судья: Он просил Вас дать их ему?

Хейфец: Нет, я увидел по глазам, что ему интересно, и дал.

Судья: Вы что, имеете медицинское образование?

Хейфец: Нет, но это та сфера, которая меня интересует, как писателя (называет две свои напечатанные статьи).

Судья: Как же Вы, не зная медицины, пишете на эти темы?

Хейфец: Я беру в соавторы врачей, беру у них интервью.

Судья: Это что же, плагиат выходит? Присваиваете их труды?

Хейфец – объясняет еще раз, подробнее, что такое интервью.

Судья: Значит, пользуетесь данными людей знающих. (Обращаясь к Загребе)

Слышали показания Хейфеца? Все правильно?

Загреба: Абсолютно.

Судья: Знакомились ли с материалами в папке?

Загреба: Первый же из них показался мне настолько омерзительным...

Заседатель: Это было действительно антисоветский материал?

Загреба: Да, это было письмо в ЦК КПСС трех авторов, антисемитский и антисоветский документ.

Прокурор: Знакомились ли со статьей «Иосиф Бродский и наше поколение»?

Загреба: Да, одним глазком проглядел, будучи у моих друзей, живущих в одном доме с Хейфецем.

Прокурор (Хейфецу): Не могли бы Вы все же более вразумительно (Вы извините меня) объяснить, почему Вы дали эти материалы Загребе?

Хейфец: Перед этим у нас с ним был разговор, он сказал, что в нашем споре с Эткиндоном он на стороне Эткинды, из этого я понял, что статью мою он знает, почувствовал доверие, потому и дал.

Адвокат (Хейфецу): То есть статью и рецензию Эткинды Вы сами Загребе не давали?

Хейфец: Нет.

Судья (Хейфецу): А кому передавали статью?

Хейфец: Марии Ефимовне Эткиндо с тем, чтобы она передавала отцу.

Адвокат (Загребе): Вы прочли только статью?

Загреба: Да, взяв ее в столе у Марии Ефимовны. Рецензию не читал.

Адвокат: Были ли у Вас с Хейфецем какие-либо политические разговоры?

Загреба: Нет.

Адвокат: Успели ли прочесть те материалы, что были в папке?

Загреба: Нет, не в курсе даже, что там еще было.

Судья: Есть еще вопросы к свидетелю? Нет? Садитесь.

Вызывается свидетель Стругацкий Борис Натанович

Судья: Что Вам известно по настоящему делу?

Стругацкий: Прошу задавать конкретные вопросы. (Препирательство с судьей по этому поводу, пока судья не задает вопрос: Знаете ли Вы подсудимого) Давно, лет десять назад познакомились в Доме писателей, дружеские отношения, считал его всегда талантливым писателем, с удовольствием читал, знаю как хорошего и честного человека, прекрасного семьянина.

Судья: Когда и как прочли его статью о Бродском?

Стругацкий: Как-то зимой 74 года он пришел ко мне и дал прочесть, я прочел при нем же.

Судья: Он пришел к Вам и сам принес?

Стругацкий: Да.

Судья: Что сказал при этом?

Стругацкий: Что написал статью для какого-то сборника о Бродском. Он обычно приносил мне все написанное, это не было чем-то особенным.

Судья: Что можете сказать о статье?

Стругацкий: Она мне, собственно, не понравилась. Показалась скучной, я плохо разбираюсь в поэзии, это я ему и сказал.

Судья: Почему не понравилась?

Стругацкий: Просто показалась неинтересной; возможно, дело в том, что это был еще черновик, возможно, в той беглости с которой я прочел...

Судья: Что сказали ему, когда прочли?

Стругацкий: Не помню точно, всегда трудно говорить что-то автору, если не понравилось...

Судья: И все-таки?

Стругацкий: На предварительном следствии меня познакомили с показаниями Хейфеца о том, что я сказал ему: «Миша, тебя посадят». Может быть, и так, но не так буквально. Возможно, я имел в виду печатание статьи за границей.

Судья: Значит, Вы сказали «посадят»?

Стругацкий: Не нужно понимать так буквально. Я могу сказать другу, берущему у меня книгу: «Не вернешь в понедельник - убью». Это ведь не значит, что действительно убью. Правда, теперь я вижу, что не очень преувеличивал...

Судья: Что же Вы все-таки имели в виду, говоря эти слова?

Стругацкий: Что может случиться, если статья будет опубликована за границей.

Заседатель: А откуда эта мысль про границу?

Стругацкий: Он мне сказал.

Прокурор: Что Вы говорили на очной ставке с Хейфецем?

Стругацкий: То же самое.

Прокурор: Не совсем. Ну, а что породило все же Ваше «преувеличение» - «тебя посадят»? Ведь Вы говорили о «статье 70»?

Стругацкий: Я говорил это, помнится, после обыска, когда у Хейфеца был изъят самиздат. Про обыск он мне рассказал.

Прокурор: Что же породило «посадят»?

Стругацкий: Если речь идет о статье, то я думал о том, что публикация за границей неопубликованных у нас произведений не одобряется.

Прокурор: А по содержанию самой статьи? Что Вы говорили на предварительном следствии?

Стругацкий: Что статья мне не понравилась, что местами кажется мне злой, ибо Хейфец беспощаден к людям, виновным в судьбе Бродского, что она слишком заострена...

Прокурор: Говорили, что статья антисоветская?

Стругацкий: Нет, не могу взять на себя ответственность решать такое.

Прокурор: И на очной ставке не говорили? Нет? Категорически?

Стругацкий: Нет.

Прокурор: У меня к этому свидетелю пока вопросов нет.

Судья (Хейфецу): Было ли сказано «посадят»?

Хейфец – подтверждает слова Стругацкого, о том, что о «статье 70» говорилось после обыска.

Адвокат (Стругацкому): Все 10 лет с какой целью Хейфец носил Вам свои работы?

Стругацкий: Услышать совет, мнение.

Адвокат: А эту статью?

Стругацкий: Полагаю, с той же целью.

Адвокат: Как он отнесся к Вашей оценке? Доказывал свое? Отстаивал?

Стругацкий: Нет, нет. Принял критику доброжелательно, не в штыки, не отстаивал.

Адвокат: Шла ли речь о публикации за рубежом?

Стругацкий: Да, так он мне сказал.

Адвокат: Почему же статья не увидела свет?

Стругацкий: Думаю, что Хейфец прислушался к критике, она как-то подействовала на него.

Адвокат: За эти 10 лет беседовали ли о политике?

Стругацкий: Думаю, что да, но это не было главным в нашем общении. Больше о литературе.

Адвокат: Если такие беседы на политические темы бывали, то каков настрой Хейфеца?

Стругацкий: Он настроен политически как подавляющее большинство наших граждан.

Адвокат: Антисоветски?

Стругацкий: Ни в коем случае!

Хейфец (Стругацкому): Борис, уверен ли ты, что тот разговор о загранице был в тот вечер, а не после обыска?

Стругацкий: Не могу сказать точно.

Хейфец: Было ли сказано «посадят»? Я, помнишь, был настроен оптимистически, ты же сказал «чистая семидесятая». Не помнишь ли, что сказал о посадке тогда?

Стругацкий: Совсем не помню.

Хейфец: Мне помнится, что разговор о загранице происходил после обыска, когда из беседы со следователем я понял, что КГБ полагает, что это предназначалось для опубликования за границей.

Стругацкий: Я этого разговора не помню, но когда я говорил о статье 70, я вообще не имел в виду Бродского, а самиздат.

Прокурор (Хейфецу): А где Вы собирались опубликовать статью за границей?

Хейфец: Я не собирался, услышал об этом в КГБ.

Прокурор (Стругацкому): Вернемся к вопросу об оценке этой статьи, данной Вами на очной ставке с Хейфецом 25 июля 1974 года: «После прочтения статьи я понял, что она имеет антисоветский характер, и в связи с этим сказал...» (судья смотрит дело, зачитывает это же место).

Стругацкий: Думаю, что такого рода запись могла появиться, потому, что я был утомлен. Помню случаи, когда мне удавалось просить следователя, чтобы он не писал слово «антисоветский», здесь, я очевидно, проморгал.

Прокурор: Но ведь Вы не ошиблись!

Стругацкий: Я профессионалам в политических оценках себя не считаю. Видно, пропустил это место при чтении протокола.

Судья: Подпись Ваша есть, никаких заявлений Вы не делали.

Стругацкий: Промах.

Прокурор: Что же это? Это означает, что внутренне Вы так и считаете, но полагаете, что на следствии так говорить не надо.

Стругацкий: Нет, это не так.

Прокурор: А Хейфецу как говорили?

Стругацкий: Ему я слова «антисоветский» не говорил.

Прокурор: Вы грамотный человек, работник идеологического фронта! Позиция мне Ваша понятна!

Адвокат: А мне не понятна! Что Вы имели в виду, когда говорили «посадят»?

Стругацкий: Говоря это, я не имел в виду содержание статьи вообще! Только случай опубликования за границей.

Адвокат: Только это?

Стругацкий: Думаю, да.

Вызывается свидетельница Стругацкая Аделаида.

Судья: Что Вам известно по настоящему делу?

Стругацкая: Я не знаю, что я должна говорить.

Судья: Какие вы все непонятливые! Когда познакомились с Хейфецом? Какие отношения? Охарактеризуйте.

Стругацкая: Отношения приятельские, хотя виделись редко. Человек интересный.

Судья: Читали ли его рукопись?

Стругацкая: Да, названия не знаю, о поэзии Бродского.

Судья: Одна читала или с кем-нибудь?

Стругацкая: С мужем.

Судья: Когда?

Стругацкая: Зимой.

Судья: Кто принес?

Стругацкая: Михаил Рувимович.

Судья: Что сказал, принесся?

Стругацкая: Не помню.

Судья: Читали?

Стругацкая: Просмотрела.

Судья: Какие сделали выводы?

Стругацкая: Никаких.

Судья: А на предварительном следствии что показали?

Стругацкая: Что мне не понравилась статья.

Судья: Почему?

Стругацкая: Больше люблю читать поэзию, чем статьи о ней.

Судья - зачитывает показания А. Стругацкой на предварительном следствии.

Стругацкая требует прочесть примечание, когда судья читает место со словами «антисоветская направленность».

Стругацкая: Сожалею, что не попросила следователя вычеркнуть эту формулировку.

Судья: А чего же расписывались? Вас ведь предупреждали об ответственности?

Стругацкая: Стала писать примечание о другом, а это пропустила.

Судья: Как часто Хейфец бывал у вас и почему принес статью?

Стругацкая: Литературные дела с мужем.

Судья: Не говорил ли муж - «посадят»?

Стругацкая: Я при этом не была.

Судья (из показаний Стругацкой): «Не помню, но допускаю, что муж мог так сказать, т. к. по содержанию она заслуживает такой оценки». Какое же это содержание?

Стругацкая: Был трехчасовой допрос, я не помню таких своих слов.

Судья: Не три часа, а два. Кого-то Вы обманываете – либо следователя, либо нас! Зачем же расписывались?!

Стругацкая: Это моя глупость. Честное слово, я говорю правду. Я не помню содержания статьи и не помнила его у следователя.

Судья снова обращается к Хейфецу с вопросом, зачем принес Стругацким статью, Хейфец повторяет уже говорившееся.

Адвокат (Стругацкой): Какие отношения у Хейфеца с Вашим мужем?

Стругацкая: Дружеские.

Адвокат: Кто из них на кого больше влиял?

Стругацкая: Взаимно. Уважительно.

Адвокат: А Ваш муж носил Хейфецу свои работы? Мнение Вашего мужа имело значение для Хейфеца?

Стругацкая: По-моему, это было равноправной дружбой.

Адвокат: С какой целью он пришел к вам в тот раз?

Стругацкая: Чтобы муж оценил его труд.

Вызывается свидетель Воскобойников Валерий Михайлович, член СП и зав. отделом прозы в журнале «Костер».

Судья: Расскажите о Ваших отношениях с Хейфецом.

Воскобойников: Отношения самые обычные, живем в одном доме, Хейфец - председатель жил.кооператива, познакомились год назад.

Судья: Передавал ли Вам что-нибудь?

Воскобойников: Когда-то зимой зашел и попросил послушать, как он написал статью о Бродском. Я сделал серьезные замечания, после этого подумал, что он выбросил статью на помойку. Еще один раз он давал мне читать что-то кажется, Альмарика (так произносит Воскобойников). Я прочел первую и последнюю страницы, это было что-то типично графоманское, что-то про Китай. Он сказал мне, что собирается это выбросить.

Судья: Давал ли он Вам читать «Хронику»?

Воскобойников: Нет.

Судья: А «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?»?

Воскобойников: Нет. А, кажется, вот так это называлось!

Судья: А «Смоленск...»?

Воскобойников: Да, было.

Судья: А «Хронику?»

Воскобойников: Просто не помню. Что-то он приносил, но я не читал.

Судья: Когда это было?

Воскобойников: Поздней осенью или зимой.

Судья: Что сказал?

Воскобойников: Что собирается выбросить. На один час оставил у меня, но я тогда был очень занят.

Судья: Какова Ваша оценка статьи?

Воскобойников: Он зачитывал ее минут 30-40. Я ему сказал, что статья совершенно неверная, в политическом отношении враждебная по отношению к советской власти, а ведь Бродский неполитический поэт.

Судья: В чем видите ее враждебность?

Воскобойников: Ну, например, там была оценка чехословацких событий, оценка деятельности органов КГБ.

Судья: Он у Вас работал, в «Костре»?

Воскобойников: Не при мне, я там всего год. А Хейфец работал там 4 года назад.

Судья: Почему он все же к Вам принес, ведь Вы вот инженер по специальности?

Воскобойников: Он сказал, что хочет узнать мое мнение.

Судья: А Вы что ему сказали?

Воскобойников: Я уже сказал о враждебности (Чехословакия, КГБ)...

Судья: Ну, а начистоту – какая политическая направленность статьи?

Воскобойников: Враждебная.

Судья: Вы об этом ему сказали?

Воскобойников: Да, он поблагодарил, сказал, что подумает. Через недельку мы встретились, он сказал, что статья лежит. Он ее не переделывал. Я думал, он ее просто выбросит на помойку.

Прокурор: Вы только что сказали, что Хейфец неоднократно подчеркивал свою лояльность к советской власти. А какая была необходимость это делать? Вот я этого не делаю ни раз в день, ни раз в месяц или год... А почему на предварительном следствии Вы не сразу стали давать показания?

Воскобойников: Боялся, что попадет за чтение такой статьи... Ну, и Хейфеца жаль было.

Прокурор (зачитывает): «Решил дать правдивые показания. Статья произвела впечатление антисоветской, поэтому я понимал, что она может повредить Хейфецу». Так ли это?

Воскобойников: Так.

Прокурор: И последнее. То он Вам дает самиздат, то собственное сочинение, антисоветское, злое. Вас не насторожило, что он все в одну точку бьет?

Воскобойников: Хейфец вообще сложен и противоречив. Ведь он писал о революционерах...

Прокурор: Кушать-то надо!

Воскобойников: Нет, не от этого, он действительно много раз подтверждал свою лояльность. А человек сложный, странный: как-то мы шли из магазина, он разделся и в пруду выкупался...

Прокурор: Ну, это ладно... А вот помочь, поставить на ноги, Вы же в какой-то степени должностное лицо! Вы смотрите, как он настойчиво, в одну точку бил все время. Но Вы - Вы же кресло занимали.

Воскобойников: Хейфец и то, и другое делал совершенно искренне.

Прокурор: Не сомневаюсь в искренности того, что он делал так настойчиво!

Адвокат: В итоге - что он Вам передал за год знакомства?

Воскобойников – снова перечисляет – Амальрик, «Смоленск», «Хроника...»

Адвокат: Что Вы из этого читали?

Воскобойников: Ничего, Амальрика – первую и последнюю страницы.

Адвокат: Как долго они у Вас пробыли?

Воскобойников: Часа три. Он говорил, что хочет выбросить.

Адвокат: Что сказал Вам Хейфец, придя, о статье?

Воскобойников: Что хочет узнать мое мнение.

Адвокат: Вы были уверены, что он все выбросил. Почему сложилась такая уверенность?

Воскобойников: Когда встретились, он сказал: «Да я забросил, оставил это дело».

Адвокат: С Вашей критикой он соглашался или спорил?

Воскобойников: Говорил, что подумает.

Адвокат: Можно ли сказать, что он антисоветски настроенный человек?

Воскобойников: Уверен, что нет. Во-первых, его изданные произведения; комментировал действия советского правительства как правильные; говорил, что только слепые и политические люди могут выступать против советской власти.

Судья (читает из показаний Воскобойникова на предварительном следствии слова об Амальрике: «Враждебное советскому строю произведение».

Обращаясь к Хейфецу: Зачем приносили свидетелю эти материалы?

Хейфец: Он знает стихи Бродского. До этого я давал статью Емельянову, он подверг резкой критике. Воскобойников тоже говорил, что неверное направление. По-моему, я сказал не «подумаю», а «переделаю».

Судья: Чего же не переделали?

Хейфец: Не получилось. Для того и попросил у Марамзина третий том собрания Бродского. (Воскобойникову) Ты показал на предварительном следствии, что, давая Амальрика, я высказался об этом.

Воскобойников: Да, что это «забавное» произведение.

Хейфец: Но не антисоветское! Я говорил «не люблю антисоветских произведений», имея в виду в первую очередь Белинкова, а не об Амальрике.

Судья: Почему не любите?

Хейфец: Потому что мне нужна, в первую очередь, информация. А вот мысли выбрасывать тексты у меня не было, там были какие-то забавные вещи.

Адвокат: Зачем Вы дали Воскобойникову Амальрика? Просветить его?

Хейфец: Ни в коем случае!

Адвокат: Почему Вас интересовало его мнение? У Вас же есть свое?

Хейфец: Мне просто интересно было его мнение об этой вещи.

Перерыв

После перерыва вызывается свидетель Филатов Юрий Павлович, 1926 г.р., искусствовед (университет, две аспирантуры), работает сторожем в таксопарке.

Судья: Что Вам известно по настоящему делу? Знаете ли подсудимого?

Филатов: Да. Знакомство случайное, а два года назад встретились, когда оба гуляли с детьми. Я искал контактов для сына. «Приходите в гости!» – «Хорошо». Так и бывало. Дети как-то рассорились, я обиделся, год не бывал. После встретились, случайно. Как-то взял книжку, фантастику, прочел, принес – а у него обыск. Меня вызвали, спросили. Предпоследний раз я был у него примерно 20-23 марта, а в руки мне попала статья о Бродском. Посмотрел,

он говорит: «Это все сырое», я быстро просмотрел, показалось – страниц десять. О поэте у меня представление слабое, я ему сказал: «Тут совершенно ненужные вещи, политические рассуждения». А он: «Верно, надо ее переделать в чисто экономическом духе». А другая вещь – как-то я видел у него письмо публицисту Яковлеву в ответ на статью того о Солженицыне, напечатанную в «Литературке». У Хейфеца были соображения, что эта статья дезориентирует читателя, он их и записал, Хейфец понимал, что меня эти вопросы не интересуют, я от них далек, не хочу соваться. Интересны были вопросы истории.

Судья: В каком виде была его статья о Бродском?

Филатов: На машинке, черновик, исчеркан.

Судья: Что Вы ему сказали?

Филатов: Что мне не нравится вся эта политика и прочее.

Судья: Почему он дал Вам статью? Что сказал, давая?

Филатов: Повторяю: «Это все сырое».

Судья: Вы прочитали статью?

Филатов: Повторяю: быстро пробежал.

Адвокат: Как же все-таки статья оказалась в Ваших руках?

Филатов: Она лежала в кипе бумаг. Я сам потянул за лист, поинтересовался. Я сам ее взял.

Вызывается свидетельница Эткинд Мария Ефимовна.

Судья: Эткинд Ефим Гиршевич - Ваш отец? Он что – болен?

Эткинд: Да, у него стенокардическая болезнь.

Судья: Что Вам известно по настоящему делу?

Эткинд: Прошу конкретных вопросов.

Судья: Как знакомы с подсудимым?

Эткинд: Живем в одном доме, знакомы с начала 74 года, до этого – шапочное знакомство. Познакомились у общих друзей в этом же доме, завязались дружеские отношения.

Судья: Передавал ли Вам Хейфец что-либо для чтения?

Эткинд: Повесть об Александре Ульянове «Дорога на эшафот». Больше ничего не читала.

Судья: Читали ли его статью о Бродском?

Эткинд: Не читала.

Судья: Когда Вы передали отцу эту статью?

Эткинд: В этом году, по-моему, в начале весны.

Судья: По поручению Хейфеца?

Эткинд: Это не было поручением. Михаил Рувимович дал мне статью, чтобы ее прочел отец.

Судья: Ну, хорошо, не поручение, а просьба; значит, Вы выполнили просьбу и передали статью. А сами не читали?

Эткинд: Нет.

Судья: Что сказал отец?

Эткинд: Не вдавался в разговоры. Насколько я помню, критиковал, но так как я не читала статью, мне трудно.

Судья: В чем заключалась критика?

Эткинд: В том, что здесь меньше литературного анализа, чем общественно-политического.

Судья: Почему на предварительном следствии отрицали получение и передачу статьи?

Эткинд: Поскольку считала, что это меня компрометирует, считала, что раз не читала, то это не существенно...

Судья: Вы хоть начинали читать?

Эткинд: Посмотрела первую страницу – мне не было интересно (грудной ребенок, очень занята...)

Судья сравнивает с показаниями, данными Эткинд на предварительном следствии, - там сказано «не дочитала».

Эткинд: Это вина следователя!

Судья читает нотацию об ответственности за дачу ложных показаний и пр.

Прокурор: Кому еще давали для ознакомления статью?

Эткинд: Никому.

Прокурор: Вспомните! А Загребе?

Эткинд: Не давала.

Прокурор: Когда заболел Ваш отец?

Эткинд: Примерно в середине апреля.

Прокурор: С тех пор лежит, не ходит?

Эткинд: Я передала суду медицинскую справку, там все сказано.

Прокурор (Хейфецу): К кому еще через свидетельницу попала Ваша статья?

Хейфец: Я знаю только – к Ефиму Григорьевичу Эткинду.

Прокурор (Загребе): Как к Вам попала статья?

Загреба: Повторяю: Пришел как-то к Марии Ефимовне посчитать пленку (это моя научная работа), полез в стол за логарифмической линейкой, наткнулся.

Прокурор: Что же после того, как наткнулись?

Загреба: Как и сказал ранее - проглядел одним глазом.

Адвокат (Эткинд): Не было ли у Вас с Загребой разговора об этом?

Эткинд: Я и не знала, что он посмотрел.

Судья (Хейфецу): Почему решили передать через свидетельницу?

Хейфец: Я очень мало знаком с самим Е. Г. Эткиндом.

Вызывается свидетель Нафтульев, 1935 г.р., б/п, до прошлого года работал в журнале «Костер», теперь литературный работник по договорам.

Судья: Что Вам известно по настоящему делу?

Нафтульев: Мне известно немного. Я повторяю то, что сказал на предварительном следствии. Знаком с Хейфецом с 1963 года, когда он пришел в журнал «Костер», стал перспективным автором этого журнала. Я был его

редактором его повести, в журнале напечатано несколько его вещей. Он работал временно в редакции. Отношения между нами дружеские, мы виделись, но не регулярно. На предварительном следствии я показал, что несколько лет назад Хейфец показал мне письмо в ЦК КПСС Щербакова, Смирнова, Утехина. Этот документ мы не обсуждали. В ходе предварительного следствия мне сообщили, что Хейфец дал мне несколько лет назад Амальрика. Я не могу вспомнить этого. Здесь что-то перепутано. Я сказал: «Если Хейфец считает, что это было, значит, так оно и было», но я не помню.

Судья: Вы много вообще читаете рукописей?

Нафтульев: Да, и читаю, и пишу.

Судья: Вспомните все-таки, читали ли Вы Амальрика?

Нафтульев: Просто не знаю, что это такое. Либо Михаил Рувимович ошибается, либо так уж я совсем забыл. Если бы я не считал, что Михаил Рувимович порядочный человек, я бы просто отрицал.

Судья: (Хейфецу): Давали Вы ему Амальрика или нет?

Хейфец: «Помнится, что-то давал, наверное, Амальрика» - так в моем протоколе, я не беру своих показаний, но вот как получается...

Судья: А еще что-либо давали?

Хейфец: Ну, вот Нафтульев помнит о «Письме троих» в ЦК КПСС, но этого я как раз вовсе не помню... Не могу твердо сказать, давал ли ему это письмо.

Конец заседания 10 сентября.

Продолжение заседания 12 сентября 1974 года

Судья говорит о свидетелях, так и не явившихся на заседание: Емельянов, Рольникайте, Рубашкин – в отпуске, Шумилова в Москве, Е. Г. Эткинд – болен (дочь Эткинды передает справку о его болезни); спрашивает Хейфеца, полагает ли он возможным продолжение заседания в отсутствие данных свидетелей. У Хейфеца и у защиты возражений нет. Спрашивает о том же прокурора, тот обращается к Хейфецу с вопросом, знаком ли тот с материалами, все ли верно. Хейфец отвечает, что все показания отсутствующих свидетелей соответствуют истине. Прокурор полагает, что можно продолжать.

Учитывая все это, судейская коллегия решает рассматривать дело в отсутствие неявившихся свидетелей.

Судья: Есть ли дополнения? Ходатайства?

Хейфец: Нет.

Судья: Подтверждается ли экспертизой?

Эксперт: Исследованы машинописные документы, статьи, фотокопии... Все заключения, данные мною в пяти экспертизах, подтверждаю.

Адвокат – эксперту: Есть ли случаи, чтобы из шести документов, находившихся в поле зрения следствия, что-либо было напечатано не на машинке Хейфеца?

Эксперт: «Хроника текущих событий», письмо Григоренко и Костерина.

Судья (эксперту): Чьей рукой написана рецензия Эткинда на статью Хейфеца?

Эксперт (долго ищет): Рукой Е.Г.Эткинда

Судья: А Вы что, брали у Эткинда образцы?

Эксперт: Образцы были экспериментальные.

Судья: Есть ли дополнения у сторон?

Прокурор: Нет.

Адвокат: Есть вопросы к подсудимому. Те документы, о которых идет речь, согласны ли Вы, что они содержат антисоветскую пропаганду?

Хейфец: Согласен.

Адвокат: А Ваша статья?

Хейфец: В том виде, в каком осталась, – да.

Адвокат: Согласны ли, что давали читать эти документы, содержащие антисоветскую направленность?

Хейфец: Да.

Адвокат: Согласны ли, что это означало антисоветскую пропаганду?

Хейфец: Теперь, выслушав все, - да.

Адвокат: В начале предварительного следствия Вы не признали вины, затем – частично, на нашем первом заседании, а сейчас?

Хейфец: Я привык доверять мнению квалифицированных людей. Согласно моему прежнему пониманию статьи 70, я своей вины не признавал. Сейчас, послушав, - да, я нарушил закон. Я признаю себя виновным полностью.

Адвокат: На предварительном следствии Вы показали собственноручно: «Я лично стою за социализм, за советскую власть, признаю советскую власть историческим фактом, отвечающим мыслям и чувствам советского народа». Это отвечает Вашим мыслям?

Хейфец: Да. И всегда так думал.

Судья: Как все-таки понять Вас? На первом заседании Вы не признавали свою вину. Ваше мнение, личное?

Хейфец: Я действительно искренне говорю. Я понимал слово «Пропаганда» как сознательное распространение. Сейчас я понял, что если я просто, без умысла, передаю, то закон считает и это преступлением.

Судья: Признаете ли себя виновным? Полностью?

Хейфец: Да. Видимо, неумышленно я это сделал...

Судебное следствие закрыто. Приступают к слушанию сторон.

Прокурор: На скамье подсудимых человек, который избрал своей специальностью литературный труд. С полным основанием можно отнести его к работникам идеологического фронта, к которым относятся требования ЦК КПСС (... ..) Хейфец не только не находился на этих позициях, но наоборот, занимался антисоветской пропагандой и агитацией. Он совершил тяжкое преступление, его деятельность носила враждебный характер. Предварительным следствием установлено, что его деятельность

антисоветская. С целью ослабления советской власти он систематически изготовлял, хранил и распространял заведомо ложные измышления, порочащие государственный и общественный строй. Амальрик – хранил два экземпляра, враждебное антисоветское произведение, передавал (...). Фенсод (о Смоленске) – изготовил и хранил конспект, содержащий антисоветские мысли, клевету на политику КП в области сельского хозяйства, передавал Воскобойникову и Загребе. Приобрел «Хронику», письмо Григоренко и Костерина, Белинкова, хранил с целью распространения; передал «Хронику» Воскобойникову; Григоренко и др. – Загребе. Все это подтверждается имеющимися в деле фотокопиями, заключениями экспертиз. Кроме того, эти обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей и самого Хейфеца. Не ограничившись чужими материалами, изготовил статью антисоветского содержания «Иосиф Бродский и наше поколение». В ней клеветнически утверждал, что Советский Союз – империалистическое государство. Ознакомил с ней...(перечисляет). Все это подтверждено...(перечисляет). Это сочинение является враждебным, направленным против нашего строя и по существу очень мало отражает задачу написать о творчестве Бродского. Таковы факты.

Сначала он отрицал вину, но полностью признал факты. В первый день заявил нам, что не признает себя виновным. Сейчас на вопросы и суда и своей защиты заявил, что признает себя виновным, но с оговоркой, что в момент совершения не знал закона.

Т.т. судьи, характер деятельности человека определяется не только его собственной оценкой, а - объективно. Так вот, объективные обстоятельства свидетельствуют, что инкриминируемые действия совершались им сознательно и были направлены на ослабление советского строя. Ни у кого нет сомнения в его эрудиции, образованности и т. п. Думаю, что подсудимый знал, что он делает. Да ему говорили об этом и его знакомые. Он ведь сам понимал, что дает Загребе, например, который не «продаст». Значит, понимал: есть, что скрывать. А распространял не только чужую литературу, но и писал свою!!! В идеологической борьбе третьего не дано! Либо защищаешь, либо ты враг! Факты, которые мы обсуждали, характеризуют его как врага. Здесь говорилось о его других произведениях. Ну что же, одно другое не исключает, что поделаешь, надо кушать, кормить семью... Двуличность? Да, иначе не назовешь. Он назвал себя инакомыслящим. Каждый защищается, как может, можно было выбрать и более удачное словечко для прикрытия своей враждебной деятельности. Объяснение, что самиздат - старый, а статья черновик... Закон преследует за содержание литературы, а не за внешний вид и сроки хранения. Ряд свидетелей, как здесь говорилось, не читали этого. Закон говорит только о распространении – не важен факт чтения или результат чтения. Закон говорит об умышленном распространении антисоветской литературы, в целях подрыва и ослабления существующего строя. Среди кого

он распространял? Хейфец говорит, что среди друзей. А закон в этом смысле рамок не устанавливает. Подсудимый сделал шаг, полшага, чтобы раскаяться. Но он еще не сказал того, что в его душе...

Есть два эпизода, которые прошу исключить, как не имеющие подтверждения: передача Нафтульеву Амальрика и чтение Загребой статьи Хейфеца – нет фактов, что это с ведома Хейфеца.

Обвинение учитывает и тяжесть преступления, и характеристики, данные подсудимому, и отношение его самого. Наказание преследует воспитательные цели, но эта мера, чтоб поставить на ноги, что ли, а здесь имеет место его честность, правдивость... Хотя Хейфец и признал свою вину, но у меня нет уверенности, что это так. Он оговаривает, мол, понял все здесь, а что же четыре с половиной месяца предварительного следствия?! Он не хочет раскаяться разоружиться полностью, поэтому у меня нет оснований считать, что он не нуждается в длительном заключении.

Обвинение требует ПЯТИ ЛЕТ СТРОГОГО РЕЖИМА (Исправительно-трудовая колония) И ДВУХ ЛЕТ ССЫЛКИ.

Адвокат: Столь суровая мера, предложенная обвинением, основана на том, что «не раскался». Представитель государственного обвинения говорит: «У меня нет уверенности...» и т. д. Это субъективная оценка. Это приговор, который превышает почти в два года срок, данный людям, чьи материалы он распространял. И не соответствует составу преступления, раскаянию, личности подсудимого. Он активно способствовал установлению истины по делу. Тов. прокурор, очевидно, забыл или не учел поведения Хейфеца на очных ставках, когда Хейфец сам напоминал свидетелям, а не наоборот, как это бывает. Он и на предварительном следствии утверждал, что в его действиях не было умысла. Говорить, что он не разоружился, это просто не понимать Хейфеца, за которым четыре месяца наблюдали и следователь, и прокурор. Хейфец считал, что лица, которым он давал читать, в состоянии критически отнестись к тому, что он дает. Свою статью он считал неудачной, забраковал, она пошла в архив. Это ничем не опровергнуто, но об этом я еще скажу... С точки зрения чисто юридической тов. прокурор прав, Хейфец понял, но, к сожалению, - слишком поздно. Особенность литературного труда – хранение часто и антисоветских сочинений. Закон не возбраняет работу с таковыми, «югда хранятся с целью критического анализа», закон не преследует этого. Если бы письмо Белинкова (произносит с ударением на первом слове), работа Фенсода и прочие помогли бы ему создать литературный образ, разоблачающий сущность таких взглядов! Беда же в том, что он это передал другим – так, для интереса. Хейфец достаточно понял... Он понял, что его судят за распространение, что передача любому лицу советского или антисоветского произведения (хоть одного) – это уже пропаганда. Защита считает необходимым обратить внимание на то, что обойдено обвинением. Все эти сочинения оказались поначалу у него не для

распространения. Ведь за четыре года они побывали в руках только двух человек - Воскобойникова и Загребы. Можно ли говорить, что он их приобрел специально? То, что он все же передал их, это преступление, и он сам это понимает. Нафтульев – это обстоятельство не подтверждено, но тут важно, что Хейфец сам назвал Нафтульева. То есть Хейфец мог перепутать, но тут ведь такое поведение Хейфеца свидетельствует об искренности! Итак, остается 4 года – два человека! Вот и весь объем преступлений! Не имеет юридического значения, говорит тов. прокурор, кому и при каких обстоятельствах передал. Возможно, юридически и не имеет, но чтоб понять Хейфеца – имеет. Кто такой Воскобойников? – Коммунист. Хейфец занес ему материалы по пути в магазин, а, идя из магазина, забрал. Загреба – человек с высшим образованием, знакомство на основе медицинских статей, да ведь и материалы, данные ему, были самые разные, то есть сам Хейфец предлагал Загребе и то, и другое. Юридически, говорит прокурор, не имеет значения, читали ли свидетели. Да. Но юристы не могут не говорить о последствиях, значение имеет все же, что за этим последовало. Я все это говорю, чтобы был понятен объем того, что совершено. Сводится по сути к тому, что Хейфец дал то-то и то-то двум человекам, один из которых не читал, другой уничтожил. Очевидно, все же главное – это его статья. Хейфец утверждает: не собирался издавать, бросил в архив и т. д. Это утверждение никак не опровергнуто. Забрав статью от Марамзина, он никак не пытался что-то с ней сделать. Передача статьи – в связи с этим встает вопрос о праве писателя на критику товарищей, об обращении к ним и т.д. Отрадно, что все наши литераторы критиковали статью. И Хейфец, и я должны их всех благодарить. Этим они предостерегли его от больших бед, ошибок. Хейфец не учел, что надо отличать проблемы, порождаемые трудностями нашего развития, от подлинных. Прокурор сказал, что третьего не дано, а мне вспомнились крылатые слова Кирова о том, что прошли времена вопросов, нравятся ли вам советская власть, теперь вопрос – нравитесь ли вы ей. Поняв антисоветский характер статьи, он конечно, не должен был продолжать передавать ее, ведь там явно были антисоветские взгляды. Это уже преступление, и я с удовольствием констатирую, что Хейфец это понял. Кстати, понял и на предварительном следствии, не только на суде.

Хейфец понял, что не прав и по существу. Он говорил: «Я не антисоветски настроенный человек, а заблудшая душа», ссылаясь на слова Л.И.Брежнева. Есть показания других - Стругацких, Воскобойникова, которые говорили, сознавая свою ответственность и расписавшись, что он не антисоветский человек, Хейфец писал о революционерах. И вдруг такая статья! Как это объяснить? Я мучался. Это объяснить можно только словами Писарева: «В человеке могут возникнуть и низкие мысли, побуждения, однако это вовсе не значит, что они выражают нравственную природу человека». Есть два Хейфеца. Его истинная природа – в его серьезных работах. Заявлять, что

они сделаны только для куска хлеба, из двуличия – это не соответствует действительности!!! Одна статья – или сорок опубликованных работ!!! Несправедливо утверждение обвинителя!

Думаю, что все им написанное должно как-то лечь на чашу весов Фемиды, а на другой – его статья о Бродском, Амальрик и пр. Пусть стрелка весов будет мерилом личности. Ведь, кстати, статью о Бродском прочли 11-12 человек, а напечатанное – сотни тысяч.

Содержание статьи 70 УК РСФСР сопоставьте с совершенным Хейфецом. В этой статье есть и потолок, но есть и низший предел, в ней есть и шесть месяцев, и просто высылка (адвокат подробно говорит о ст. 70). Надеюсь, вы воспримите не в той интерпретации, что предложил прокурор. Вы все учтете. И что Хейфец – больной человек, сердечник, уже лежал в больнице с предположением на инфаркт. Надеюсь, что силу правосудия вы продемонстрируете гуманностью советского правосудия!

(Аплодисменты зала)

Прокурор: Защита утверждает, что я не принял во внимание признание Хейфеца, которое он сделал в конце. Я ошибся. Он не сделал и полшага! **Антисоветская пропаганда по неосторожности совершена быть не может.** Нет, он понимал, что делал. Это не признание, он не раскаивается! Это государственное преступление, и преступник должен нести ответственность.

Адвокат: Я благодарен прокурору, что он прощает мне мою «запальчивость» (об этом было в словах прокурора). Он забирает назад даже полшага! (смех) Умысел я признал сразу, убежден, что понял это и Хейфец. Теперь, когда он все правильно оценил, понял, нельзя, не веря его искренности, просить определить ему наказание, почти в два раза превышающее то, которое предусмотрено для тех, кто написал эту литературу. Я не прошу «ниже низшего» (ст. 43), прошу действовать в рамках закона – шесть месяцев или вообще высылка.

Конец заседания от 12 сентября 1974 года

Заседание 13 сентября 1974 года

Хейфец: Говорит о том, что честен, осознал все, о семье, детях. Я совершил ошибку и пытался ее исправить, снова преступая закон. Я не нанес вреда государству, только – себе. «Лжи за мной не было, не было и двуличия» Единственное, что удивляет, после того как я осознал свою вину, это суровость той меры, которую предложил государственный обвинитель. Просит о снисхождении.

Суд удаляется на совещание (полтора часа перерыв). Объявляется приговор:

ЧЕТЫРЕ ГОДА СТРОГОГО РЕЖИМА И ДВА ГОДА ССЫЛКИ.

КОММЕНТАРИЙ К «ЗАПИСКАМ НЕЗАГОВОРЩИКА» ЕФИМА ЭТКИНДА Михаил ХЕЙФЕЦ

На титуле экземпляра «Записок незаговорщика», подаренных мне автором, надпись: «Дорогому и всегда с нежностью и восхищением вспоминаемому Мише Хейфецу с надеждой на скорую встречу - теперь уже реальную. Е. Эткинд. 24 мая 1980 г. (в день 40-летия И. Бродского, сыгравшего в Вашей жизни такую роль...)»

Неловко в принципе писать о Ефиме (так в нашем кругу профессора Эткинда обычно звали. Иногда – «Машкин отец») - слишком мало я его знал. Скажем, до того, как получить от него эту книгу с надписью, я разговаривал с ним... два раза. И надо ж так случиться, что именно мне, почти незнакомому с ним человеку, довелось сыграть роковую роль в его судьбе! Впрочем, утешаю себя, что Ефим все равно был обречен гебухой, а Хейфец или кто другой используется для его изничтожения в Питере – это был вопрос оперативной техники...

Конечно, и раньше я часто его встречал: сдавал кандидатский минимум в педагогическом институте им. Герцена, где Ефим профессорствовал, и постоянно видел его в институтском дворе. Не обратить внимания на такого яркого - на любой улице! - человека было невозможно. Но, и приметив, не знал, кто такой, и помню, через много лет, при личном знакомстве был несколько удивлен, поняв, что давно примеченный господин и есть «знаменитый Эткинд». Кто ж в литературных питерских кругах не слышал про первого знатока поэзии, выступавшего свидетелем защиты на процессе Иосифа Бродского?!

Личное знакомство возникло у нас сравнительно поздно (я всю жизнь был болезненно самолюбивым человеком, избегал приближаться к сколь-нибудь известным людям – чудилось, что у них при появлении нового лица неизбежно возникает вопрос: а что новому «знакомцу» от меня нужно? А поскольку мне никогда ничего ни от кого не было «нужно», я предпочитал отсиживаться в стороне от «имен», разве кто-то сам позовет...) Но в 1972 году я купил квартиру в новом жилкооперативе Союза писателей на Новороссийской улице, где самих писателей жило сравнительно немного - в основном, приобретались квартиры для их детей. Моя семья сдружилась с молодежным кружком, который крутился в доме вокруг Вахтиных (семьи сына лидера тогдашней ленинградской «молодой прозы», основателя группы «Горожане» Б. Б. Вахтина) и Маши Эткинд, дочки Ефима.

...Примерно через год, весной 1973 г., в пустой гостиной Дома писателей (бывшего Шереметьевского дворца) я встретил Владимира Марамзина, тоже одного из лидеров ленинградской «молодой прозы» и участника «Горожан». Наверно, здесь место оговорить наши неформальные

отношения с Володей. В тогдашнем СССР действовала стихийно сложившаяся сеть распространителей «самиздата», Марамзин, видимо, был одним из ее ленинградских «резидентов» (так или не так – до сих пор не знаю). Во всяком случае, от него я регулярно получал десятки документов «самиздата»: рассказы, романы, документы, статьи. От кого получал их сам Марамзин – представления до сих пор не имею, но по прочтении аккуратно все получаемое должен был ему возвращать. Но и Марамзин не знал, что все получаемое от него я относил к надежной машинистке (Людмиле Эйзенгардт) и распечатывал в пяти экземплярах. Четыре продавал знакомым, каждая копия за 20% от общей стоимости (все листы перемешивались, чтоб качество каждой копии оказалось одинаковым, но себе за «организаторскую работу» в виде гонорара я брал первый экземпляр). Сеть была неуловимой: ведь Марамзин ничего не знал о моих «клиентах», я, в свою очередь, не поручусь, что кто-то из моего «кооператива» тоже не распечатывал со своего экземпляра еще пяток копий – уже для своего круга...

Итак, я встретил Володю в Союзписе (видимо, отдавал ему очередную порцию «прокатных» документов или получал новую – не помню). Он поделился новостями: «Пришло письмо из Штатов. Иосиф Бродский стал большим человеком...» И показал письмо, где рассказывалось об американских успехах Бродского, причем закрывал подпись ружью (нравились Марамзину конспиративные «игры»! Позднее, лучась от удовольствия, майор КГБ Рябчук сообщал мне: «Это было письмо от Киселева! Киселева!»).

Потом Володя сказал:

- Собираю сейчас все, написанное Иосифом. Он уехал без единого листка. Мы решили, пока стихи не потерялись, все собрать – у баб, родных, друзей, приятелей... Сделать собрание сочинений. Как положено: комментарии, датировки, расшифровки посвящений... Иосиф оказался жутко плодовитым автором! Три тома мы уже собрали. Еще два добираю – стихи на случай, в подарок, детские, записи разные... Ерунда, но для полного собрания и это необходимо. Но вот трудность – никто не берется писать предисловие. Не потому, что боятся кого-то, а боятся - ответственности.

(Я не знаю даже сейчас, кто входил в марамзинское «мы». Точно наличествовал литератор Михаил Мильчик: уже позже, сразу после обысков у меня и Марамзина, Миша пришел ко мне в дом и рассказал о своем участии в «проекте» – разумеется, не в самой квартире, а на лестничной площадке, у лифта. От него я впервые услышал, что все пять томов Бродского «уже там, там!». Недавно довелось прочитать, что публикации всех «российских» стихов Бродского опираются на так называемое «марамзинское собрание»).

К тому времени в моей писательской судьбе уже несколько лет сложилась парадоксальная ситуация: примерно с конца 1970-го года я никак не мог пробиться в печать и, пробуя вырваться из непонятно-мистической ситуации (мне в голову не приходило, что мной уже заинтересовалось КГБ!),

пробовал себя в новых и разных жанрах – например, вместо прозы и публицистики стал писать сценарии и внутренние рецензии. Марамзин про мои «пробы пера» знал, в его реплике, мол, «никто не берется писать», конечно, таился косвенный вызов в мой адрес. Я так это и понял и сам предложил сделать нужную для собрания вступительную статью.

Летом 1973 г. Марамзин прислал мне на дом требуемое для работы «сырье» – три тома лирики Бродского. Самиздат, как выяснилось, работал хорошо, мне пришлось осмысливать уже давно знакомые литературные «объекты».

Сегодня я знаю, что к тому времени о Бродском немало мастеров писало на Западе, включая великого англоязычного поэта Одена. Но тогда в Союзе мы не подозревали об этом. Питерцами Бродский смотрелся как наш, «самиздатский» поэт, то есть стихотворец, существующий вне нормального литературного процесса. И вот - прочувствуйте мою задачу, ту, что отпугнула прочих «кандидатов»: мне виделось, что я окажусь первым в истории исследователем творчества великого поэта Бродского! (Помню, с какой дрожью – нет, не в переносном, а в буквальном смысле слова - я решился снабдить в той статье Иосифа этим эпитетом. Ощущалось жуткой, хотя и неизбежной дерзостью – присваивать такое звание современнику). Возможно, я действительно оказался первым исследователем Бродского в России? Статья, все экземпляры которой хранятся в архиве ЛенУКБ, даст профессиональным исследователям поэтики адекватный слепок того, как воспринимались его ранние стихи неким «Голосом из хора» шестидесятников.

Конечно, начинающему критику сделать профессиональный разбор поэтики Бродского было «не по чину» – я и сам это быстро понял. Но – как отказаться от задания? Подвести Марамзина, сорвать выход пятитомника, спасовать... Нет. Надо было нащупать, в каком же качестве литератор М. Хейфец мог показаться читателю интересным как автор вступления к первому собранию сочинений великого поэта.

И я решил, что единственно возможный путь – не углубляться в профессиональный анализ стихов, а рассказать читателю, как исторически возник в Питере феномен поэзии Бродского. Почему в блестящем созвездии питерской школы (С. Кулле, Г. Горбовский, А. Городницкий, Е. Рейн, А. Кушнер, Л. Лосев, В. Уфлянд, В. Британишский, Б. Стратановский, В. Лейкин, Т. Галушко – называю первые всплывшие в памяти имена) Иосиф считался бесспорно Номером Первым.

Нет смысла излагать содержание написанной тогда статьи: перескажу лишь общую идею. Суть сводилась вот к чему. Иосиф Бродский – поэт неполитический, не антисоветский, исторически преходящие феномены, вроде советской власти, его не интересуют принципиально. Но любой поэт живет в своей эпохе, среди современников. Хотя он считает себя орудием Языка, но ведь Язык есть творение народа, и Ленин был прав: «Жить в обществе и быть

свободным от общества – нельзя». Никакой башней, отгораживающей Творца от суетности и пошлости мира, нельзя оборвать его связи с людьми – через тот же Язык. Допустимо, например, что поэт Бродского в 1969-70-х гг. действительно увлекала специфическая творческая задача – сымитировать «Римский цикл» Марциала или Катулла без каких-либо политических аллюзий. Но почему в глубинах его подсознания возникла именно эта творческая идея и именно в то время? Ход моих рассуждений был таков: после оккупации Чехословакии в окружавшем Бродского обществе рухнула, растворилась стержневая коммунистическая идеология (в ее различных, в том числе оппозиционных советскому режиму вариантах). В этой идеологии имелась своя внутренняя логика и этика, свойственная именно коммунистам как идеологическому течению. Оккупация малой коммунистической страны коммунистической империей оказалась феноменом, абсолютно не укладывавшимся в сию логику и сию этику. Аксиому такого сорта коммунистическая идеология вынести, не сломавшись, не могла! После 1968 г. в СССР осталась жить лишь голая имперская идея захвата и покорения народов – в незамутненно державном виде. Бродскому, естественно, дела не было ни до коммунизма, ни до имперальности, но поэт не мог не чувствовать глубинный сдвиг в мироощущении общества, в коем жил Орган мира сего. В «Римском цикле» невольно для самого создателя отразилась грядущая гибель ленивой, пошлой, сгнивавшей от бездуховности и потери моторных идей империи.

Естественно, тезис доказывался цитатами и сравнительным анализом стихов – «до» и «после». Именно фрагмент, посвященный Чехословакии, мне позднее инкриминировался – по словам следователя В. Карабанова (сам я «следственный» анализ моей статьи никогда не видел, но, честно говоря, нет оснований и сегодня отвергать его правильность: статья была несомненно антисоветской). Поэтому, когда она оказалась в руках заказчика (Марамзина), Володя испугался: «Миша, нас всех посадят, а культурное начинание будет погублено». Я мог, конечно, рисковать – но собой же, а не им и всей компанией, поэтому согласился переделать ее – «деполитизировать», как впоследствии деликатно выразился мой следователь. Но усилия что-то сделать, что-то изменить кончились пшиком: то ли не в моих силах оказалось писать чисто литературоведческую статью, то ли просто неинтересно было переделывать... И я совершил неосторожный поступок: стал показывать рукопись знакомым литературоведам и писателям, которые могли бы что-то посоветовать насчет «переработки». Сколько-нибудь полезную идею не подсказал никто, но вот информатор органов среди них нашелся...

Дал я читать рукопись и Маше Эткинд. Не без задней мысли, лгать не буду – ведь если статья ей понравится, она, возможно, покажет ее прославленному отцу (Ефим Григорьевич считался в тогдашнем Питере

лучшим знатоком поэзии вообще, поэзии Бродского, в частности). Мой расчет сработал: однажды Маша прибежала к нам в квартиру: «Приехал папа, хочет с вами поговорить».

Так мы встретились с Ефимом в первый раз.

Профессору статья моя понравилась, причем настолько серьезно (интересно бы перечитать – что в ней такое было?), что он не ограничился устной похвалой, а приложил к моему тексту исписанный с двух сторон листок – собственную рецензию. Однако в этой рецензии имелось существенное возражение, собственно, его мы с ним и обсуждали тогда. Эткинд писал, что, со слов самого Бродского, знает: имперскую сущность коммунистической державы поэт осознал не в 1968 г., а в 1956 г., после венгерского похода.

При всем уважении к мнению Эткинда я исправлений в свой текст вносить не стал. Ибо даже если принять как факт, что Бродский нечто подобное Эткинду говорил (наверно), я-то анализировал тексты, а не устные мнения поэта о себе самом. И мной явственно ощущал сдвиг в мироощущении поэта после 1968 г., а не ранее того.

...Через некоторое время я узнал от одного из читателей рукописи, врача В. Загребы, что Марамзин заказал новое предисловие к Бродскому и уже получил его (помнится, Загреба назвал и автора второго предисловия – поэта Игоря Бурихина). Теперь я мог не биться над исправлением текста, который изначально изготовлялся именно таким, как я мог и хотел это сделать. Другой человек исполнил за меня необходимую общественную работу – и слава Богу! Я спрятал текст статьи, все три отпечатанных экземпляра, в архивный ящик письменного стола и... забыл о нем.

* * *

Утром 1 апреля 1974 года будит жена: «Мишка, к тебе пришли».

Возле подушки стоял высокий, крепкий мужик.

- Мы к вам из КГБ, Михаил Рувимович, - и сует под нос книжечку: «Старший лейтенант КГБ Егеров». С ним был лейтенант КГБ Никандров, кто-то еще и, как бы это выразиться... их понятия.

Странно сегодня самому, но не удивился. Все смотрелось, как в кино.

- Райка, кинь трусы, - с этого возгласа и началась моя лагерная карьера.

Практически в тот момент я начисто забыл про давнюю статью о Бродском. Ну, лежит что-то в архиве... Во-первых, не принята заказчиком, следовательно, документ личного писательского архива. По меркам того времени – неподсудный феномен. И вообще я забыл, о чем писал полгода назад! Работал много, успел написать куда более опасную рукопись. настолько опасную, что ее, единственную, все-таки замаскировал в столе. Только ее обнаружения и боялся! Но гебист Никандров подержал ее в руках (в «маске») и отложил в сторону. Так началась моя удивительная «везуха» по части обыгрывания КГБ в конспиративных играх (ее естественным

завершением стало появление трех книг, конспиративно написанных в зонах и ссылке и тогда же напечатанных - естественно, за границей).

Когда гебисты извлекли из брюха моего письменного стола «Бродского», я, правду сказать, беспокоился не о себе, а об Эткинде. Вот – замешал постороннего человека в дело. Гебисты были обрадованы находкой, но и как-то тихо растеряны... Меня после обыска не арестовали, хотя по канонам должны были вроде! Из этого был сделан вывод, что меня и вовсе не арестуют. Как выяснилось – вывод ложный: меня неожиданно увели в следственный изолятор, но через три недели, в день рождения В. И. Ленина.

В том трехнедельном промежутке мы и встретились с Эткиндом во второй раз. Он приехал на Новороссийскую и увел меня погулять в парк Лесотехнической академии, находившийся напротив нашего дома. Обсуждалась некая юридическая тонкость... Я изложил ему тактику, избранную мной на допросах (меня уже несколько раз допрашивали в Большом доме «как свидетеля»): я, мол, ходил советоваться со специалистами, как «деполитизировать» статью (термин, который впоследствии я услышал от моего следователя В. П. Карабанова), следовательно, с точки зрения закона правонарушений я не совершал – не распространял сочинение, а напротив, хотел его обезвредить... Эткинд соответственно тоже ни в чем не виноват: когда ему дали статью, он не знал ее содержания, читал как консультант по поэтике, а когда прочел – указал мне на ошибки. Но позиция «посредницы», Маши Эткинд, была юридически уязвима: она-то статью не просто сама читала, а еще дала читать отцу, т. е. совершила чистый криминал «распространения с целью подрыва и ослабления»... Поэтому мы договорились с Ефимом, что не будем упоминать про участие Маши в этом деле: сохрем, что отдал я ему статью напрямую...

Я не понимал серьезности собственного положения, тем более – ситуации Эткинда. Ну, прочитал он мою статью, так что из того?

- Понимаете, - объяснял в парке опытный собеседник, - они не в состоянии понять, что мы действуем как свободные люди – каждый сам по себе. У них существует издательство «Советский писатель», а у нас должен быть «Антисоветский писатель»! У них авторы, а вы – наш автор, у них составители, а Марамзин – наш составитель, у них главный редактор Лесючевский, а я – наш главный редактор...

Сейчас, глядя из будущего, полагаю, что мой арест явился следствием ошибки, просчета ЛенУКБ. Там знали о подготовке пятитомника Бродского, получили через одного моего знакомого черновик-предисловие, поймали информацию, что все пять томов «уже там, там» - и, как им виделось, обладали несомненным фактажом для привлечения меня к суду. Обнаружили некое домашнее вольномыслие, дозволявшееся по тем временам либеральничавшими властями, а несомненный контакт с заграничными «центрами»! Изъятие из архива всех экземпляров моей статьи явилось потому

большим разочарованием для следотдела ЛенУКГБ. Из-за этого меня, наверно, и оставили какое-то время на свободе... Но информацию перепроверили, и когда подтвердилось, что «все там», «за кордоном» – решили брать! Роковым для расчетов начальства оказалось неизвестное поначалу обстоятельство, что переправленное в Париж предисловие было не моим – а бурихинским...

Конечно, по стандартам тех времен моя статья была несомненно антисоветской – в этом пункте я с органами не спорил, не оспариваю их мнение и сегодня. В конце концов, я не был ребенком и понимал, на что иду («Посадят тебя, Мишка», - первое, что сказала моя жена, прочитав статью о Бродском. «Пусть посадят», - ответил я и точно помню, что вполне сознательно принимал такой вариант судьбы). Тем не менее, согласно самими же властями придуманным правилам юридических игр, некое «домашнее вольномыслие», то есть не выходящее за рамки личного круга знакомых, не подлежало в ту пору наказанию по суду – об этой их позиции объявил самолично генсек Брежнев. И еще, по их же, советскому закону, если человек сам отказался от преступного намерения – до того, как о его деле узнали власти - он наказанию по суду тоже не подлежал. Вот по этим, предложенным ими самими правилам игры я и вел партию со следствием – не без успеха, признаюсь. Первое: сумел скрыть свое участие в распространении самиздата (изобразил, будто являлся пассивным покупателем обнаруженных рукописей на «свободном рынке»). Скрыл свой «самиздатский кооператив» (они о нем не узнали). Второе: статью я изобразил черновиком (каким она фактически оказалась), который под влиянием советов Эткинда и Марамзина я сам забраковал.

Важной ошибкой следствия считаю нечаянную проговорку следователя Карабанова, в принципе юриста тонкого и умного: пытаюсь убедить меня рассказать правду о том, как статья попала в руки к Ефиму, он заявил: «Остальные свидетели нам не так интересны, но вот про Эткинда и Марамзина мы должны выяснить все точно». Тут я понял, кого намечено ввести мне в «подельники» и, соответственно, как мне выстроить общую линию защиты. Вторую ошибку допустил другой следователь, майор Рябчук: «Эткинд – ваш интеллектуальный соавтор», - заявил он на допросе. И я снова понял, на каком именно основании и в каком качестве Ефима собираются привлечь к суду. Значит, можно было планировать свою контригру. Третьей их ошибкой было помещение меня в одиночную камеру почти на все время следствия (за исключением краткого срока, когда ко мне посадили «наседку». Впрочем, роль сокамерника я осознал еще до того, как его увидел, но это – ненужный финт в сторону от «эткиндовского» сюжета). В одиночке у меня были время и возможности мысленно проработать все оттенки следовательских вопросов, выявить их последовательную систему и, таким образом, предугадывая следующие шаги Карабанова, подкидывать ему свои, якобы

откровенные ответы. Признаю, в КГБ работали умные, талантливые юристы, но в избранном мной дебютном варианте они при правильной игре обречены были на поражение. Я объяснял, что, да, мол, написал антисоветскую статью, но под влиянием советов, в первую очередь, Марамзина и Эткинда, от преступного замысла сам и отказался. Эткинд указал на фактическую ошибку? Указал! Конечно, профессор критиковал меня не так, как это сделали бы в райкоме КПСС, но – критиковал! Исправить статью, согласно его критике, я не сумел – потому-то сам, добровольно, отказался от ее публикации. То есть и Эткинд куда как хорош, и я тоже...

И тут я убедился, что даже умные, талантливые люди в этой системе играют по системе Остапа Бендера: когда партию можно выиграть, проведут миттельшпиль по всем правилам, с блеском. Но когда приходится проигрывать (а всегда выигрывать не дано – во всяком случае, никому из людей), они в эндшпиле украдут с доски ладью или просто вломят оппоненту доской по глупой голове. Честно признаюсь, я был поражен их наглым, бесстыжим «беспределом» (этот термин узнал позднее, в зоне) – и презрительное возмущение отразилось в ехидном «посвящении» моей первой лагерной книги – «Места и времени».

...Сидя первые недели в следственном изоляторе, я понятия не имел, что творилось на воле: прочитал об этом только через шесть лет - в книге Эткинда. Признаюсь, *post factum* я был восхищен тем контекстом, в который заочно мое имя вставляли. Вот навскидку две цитаты. Юрий Вячеславович Кожухов, профессор истории СССР, член-корреспондент Академии педагогических наук, проректор ЛГПИ по научной работе: «Вопросы Эткинду я бы задавать не стал. Двойственности тут нет – это тактика врага. Он на своей позиции стоит давно и твердо, начиная с 1949 г. и кончая 70-ми годами, когда эволюция неизбежно столкнула его с такими подонками, как Солженицын, Хейфец, Бродский и др...» Исаак Станиславович Эвентов, профессор кафедры истории советской литературы: «Я почти не соприкасался с Эткиндром... Он стал духовным отцом для проходимцев, молодых антисоветчиков, распространителей Самиздата. Эти энергичные, но молодые подпольщики – Хейфец, Марамзин – смотрели на Эткинда... Он был в известной степени знаменем какой-то части молодых людей, которых т. Брежнев... назвал сорняками» («Записки незаговорщика», ОРИ, Лондон, 1977, стр. 64-65). Пикантность ситуации усугублялась для меня лично тем, что если Ефима я практически не знал, а единственным советом, который он мне дал, пренебрег, то как раз и с Кожуховым, и с Эвентовым был знаком неплохо: у первого дома бывал, второй считался моим научным руководителем в аспирантуре - так что чисто формально именно он и должен был прославляться как мой «духовный наставник».

...Следствие проходило по следующей методе. Сначала я отказывался говорить – а следователь осторожными вопросами «наводил»

меня на ту или иную личность свидетеля. «М. Р. - говорил он, - вы же видите, что про имярек мы все равно знаем все нужное из оперативных источников. Так что для свидетеля нет особой разницы, назовете вы его или нет: я все равно обязан его вызвать. Но если у меня не будет на руках ваших показаний, он, конечно, отопрется – знать ничего не знаю... Для вас особой разницы нет: у нас есть письменная рецензия Эткинды, есть пометки Марамзина на рукописях, этого хватит прокуратуре, чтоб обвинять вас в распространении статьи: два свидетеля – достаточная норма. Но для остальных свидетелей разница большая: я ведь могу сообщить на их работы, что они – недобросовестные свидетели... А это - люди творческого труда, живущие на доходы от договоров. Вы думаете, что после такого сигнала с ними будут заключать договоры? Вы разрушите друзьям жизнь! Почему я должен этих людей жалеть? У них своя работа, у меня – своя. Я не прошу их давать ложные показания, наоборот, вы сами видите, я заинтересован только в том, чтоб они подтвердили то, что происходило на самом деле! Но они своей ложью будут мешать мне исполнять мою работу. Почему же я не имею права мешать им в их делах?» Логика «паразитирования на нашей порядочности» (выражение, услышанное позже, в зоне, от украинского поэта В. Стуса) подействовала на меня. Я действительно понимал, что засудят они меня или нет, это вовсе не зависит от показаний свидетелей, гебистов любые показания интересовали чисто технически – они должны были «озвучить» (как сейчас говорят) оперативную информацию (ее-то в суд поставлять не положено). Но на практике только оперативная информация, единственная, и считалась достоверным знанием. После того, как я понял, что в подельники намечено оформить лишь двоих людей (Эткинды и Марамзина), а остальным судебные кары не предусмотрены, я считал для себя важным вывести из-под удара людей, подвергшихся опасности из-за моего былого легкомыслия. Вариант, предлагаемый следователем, смотрелся выгодным для меня по многим параметрам. Первое: позволял оставить за пределами внимания КГБ друзей, читавших рукопись статьи, но почему-либо не попавших в поле зрения оперативного надзора (тех же Вахтиных, или соседей по дому - Коробовых, или врача А. Ланского, или моего соавтора Ю. Гурвича и его жену и пр.). Второе (и главное в тактике): признавая причастность к делу тех, кого следователи будут «припирать» моими показаниями, я вынуждал этим ГБ показывать свидетелям текст того показания, какое я «против них» дал. Но коли следователю не требуется свидетелей посадить, то ему безразлично содержание текста, но только его наличие – чтоб «закрыть оперданные». Поэтому я свободно излагал, как тот или иной свидетель «давал мне отпор», «призывал отказаться от замысла» и пр. И следователю это по-своему тоже было выгодно, давало ему возможность демонстрировать в суде, какая у нас все-таки хорошая советская публика и какой я отщепенец, если не внял предостережениям стольких хороших людей. Я же вел свою контригру: мол, потому и не публиковал статью, что столько

хороших советских людей советовало мне этого не делать... Так что и я тоже хороший человек!

Разумеется, всегда выигрывать – не получается. Где-то я «прокололся», назвав людей, о которых следователь, оказывается, вовсе и не знал (например, писательницу Марию Рольникайте), где-то «прокололись» профессионалы... Но в целом, мне видится, следствие я выиграл: удалось их убедить, что с показаниями, которые у них есть против Эткинда или Марамзина, тащить обоих в суд – невыгодно. Санкция от Лубянки в Большой дом на возбуждение дела против фигуры с такой международной известностью (Ефим Эткинд был не только мэтром в сфере поэтики, но и крупнейшим в Союзе знатоком французской культуры, соответственно, популярным во Франции) была дана, конечно, с условием, что дело выйдет основательным и юридически чистым – судить и сажать такого известного деятеля без серьезных улик представлялось аппарату Андропова нежелательным. Я совершенно уверен, что жуткая, возмутительная кампания, развязанная против него в Союзпесе и на Ученых советах должна была по проекту завершиться вовсе не высылкой профессора в Париж (пустили щуку в реку, называется), но командировкой в секретные места Мордовии или Пермской области. Но с набранным следственным материалом – им пришлось трубить полный отбой! Заменить поселок Явас на город Париж...

Ход следствия, однако, уперся в одну техническую проблему. Оперативный отдел, видимо, давно вел наблюдение за Эткиндом. Вот пример: кто-то им донес, что Эткинд давал мою рукопись артисту Сергею Юрскому, который якобы как раз тогда готовил программу из стихов Бродского. Следователь мне уверенно про это рассказывал, и, признаюсь, я был здорово польщен: сам Юрский, а...! Каково же было разочарование много лет спустя, когда артист приехал на гастроли в Израиль, я пошел к нему за кулисы, чтоб спросить, правду ли сказал в 74-м году майор Виталий Николаевич Рябчук, и артист твердо ответил: нет, ничего этого не было, ничего он не читал, «они меня тогда же вызвали на допрос, я им так прямо и ответил»... Может, у Эткинда мелькнула мысль об этом читателе, может, он высказал ее дома, при включенных микрофонах, да тут же забыл, мало ли что приходит в голову, а идея была зафиксирована в оперативно-наблюдательном деле как свершившийся факт! И поскольку «припереть» Юрского моими показаниями они никак не могли, он так и остался в ситуации «недобросовестного свидетеля». И первого артиста тогдашнего Питера перестали на несколько лет выпускать на сцену БДТ... Любопытный психологический феномен: Юрский отказывался мне верить в Иерусалиме, когда я объяснил ему эту механику. Это-то как раз понятно: человек может принимать наказание, даже суровое, когда действительно виновен, но не может впустить в голову мысль, что, как говорится, «ни сном, ни духом» ничего не совершал, а его «по неисповедимой в нашей стране силе тайного доноса» (А. Солженицын) выкидывают из театра

на многие годы. Просто чтоб «научить жить»... Намекал же ему главреж Товстоногов: «Пойдите в Большой дом, спросите, что они имеют против вас» – а Юрский все равно не мог в такую абсурдную чушь поверить...

Но среди оперативных сведений, которые они собрали в квартире Эткинда, была довольно точная информация о том, кто передал профессору мою рукопись. Маша. И следователю для полной чистоты дела требовалось эту информацию «закрыть» свидетельскими показаниями. А я уперся: как мы договорились с Эткиндом, так я и долбил свое – мол, все прямо из рук в руки профессору отдавал.

На одном из последних допросов Карабанов меня «расколол».

- М. Р., я искренно не понимаю Вашей позиции. Вы видите, что я ничего не придумываю - и не предполагаю, а точно знаю, что вашу статью Эткинд получил из рук Марии Ефимовны. В остальных случаях, когда вы понимали, что имеется информация, которой я точно владею, которую мы получили сами, вы соглашались сотрудничать со следствием. Почему же именно в случае Марии Ефимовны вариант не работает? Вот что меня заботит. Что вы там такое особое можете скрывать?

- Ладно, Валерий Павлович, объясню. Давайте чисто гипотетически предположим, что вы правы. Ну и что? Мы с Эткиндом сидим в прежней позиции. Но Маша несомненно будет обвинена в «распространении». Зачем мне такие показания?

- А, понял... Что ж, по-своему логично. Но поймите и вы мою логику. Первое: мы не заинтересованы в аресте Марии Ефимовны. Только еще не хватает на скамье подсудимых рядом с вами увидеть молодую женщину с грудным ребенком... Никому это в органах не нужно. Но невозможно закрыть дело, пока имеется явное расхождение оперативных данных со свидетельскими показаниями. Есть еще обстоятельство, не известное пока что вам. Принято решение разрешить семье профессора Эткинда выехать в Париж. Пока дело не закрыто, они будут сидеть на чемоданах в Ленинграде. Но как только суд кончится, Эткинды выезжают во Францию. Вы не против им в этом немного помочь?

- Я хочу им помочь. Но я не могу, Валерий Павлович. Над Марией Ефимовной в случае, если я приму как данность вашу гипотезу, повиснет обвинение по «семидесятке». Нет!

- А если принять предположение, что она не читала вашу статью? Зачем, на самом деле, ей ее читать? И, не зная содержания, только услышав, что статья о поэзии, о Бродском, она и отдала ее отцу...

- Пожалуй, такую версию можно обдумать....

Через некоторое время мне дали очную ставку с Машей. Какая оказалась редкая умница – мгновенно схватила суть новой ситуации, хотя не понимала, зачем я изменил намеченный заранее с Ефимом план действий. «Зачем мне Мишину статью читать? Это поэзия. А у меня грудной ребенок...»

Она врала с настоящей женской естественностью, так легко и быстро, что мне показалось – даже следователь ей начал верить, будто не он сам это все для нас придумал...

Но вот показания согласованы, следователь разрешил «поговорить о бытовых делах», пока он посидит за пишмашинкой – оформит протокол, глубоко погрузившись в текст. А сам, конечно, уши наострил – вдруг интеллигентные простачки проговорятся о чем-то важном, думая, что он их не слушает...

- Как дела в доме? – спрашиваю.

- Все по-прежнему.

- Как (называется чье-то имя)?

- Нормально.

- Как В.?

- В Париж уехал.

- Гонорар получил?

- Да.

Ничего интересного, правда? И следователь ничего интересного не слышит... И услышать не может – потому что при словах «гонорар получил?» я яростно тычу в грудь рукой. Машка поняла! Это было самое важное для меня в то время – сообщить на волю, кто в доме стукач. Пусть мне не поверят (не поверила, как выяснилось позже, на свидании, даже моя жена) – но уж психологию писателей я знал хорошо: больше при В. откровенничать никто не будет. Береженого Бог бережет...

А потом я увидел Эткинда в Израиле: в начале 80-х он приезжал к нам на короткое время – прочитал лекцию о «Реквиеме» Ахматовой. Блестящее исследование, но оно, конечно, известно любителям. Тогда я впервые узнал Ефима как мэтра, как специалиста. К сожалению, мой идиотский характер, моя боязнь навязывать себя кому-то с годами не проходила – и я слишком мало общался с ним, редко писал, боялся обременить его своим визитом в Париж. Но в 1986 г. до нас дошла весть, что умерла жена его, Екатерина Зворыкина, мы послали Ефиму письмо... В ответ - открытка:

«31 августа 86 г.

Дорогие друзья Миша и Рая!

Ваши сердечные слова согрели нас, спасибо. В такие трудные минуты слова дружбы дороже всего. Мы всегда помним дни, когда было весело, и другие, когда было бесконечно тревожно, и Вы, Миша, выдержали с честью испытания, сломавшие многих. Мне хочется то же самое сказать Рае.

Обнимаю вас всех четырех от нашей осиротевшей семьи

Е.Эткинд

В 90 –м году он снова приехал в Иерусалим и прочитал цикл лекций, который я аккуратно посещал и оценил блеск его преподавательской мощи. Он прочитал рукопись моей новой книги «Цареубийство в 1918 г.» и фактически являлся ее первым редактором. Побывал у нас в гостях на Пасхальном седере со своей юной и поразительно красивой подругой – Марией.

25 июня 1990

Дорогой Миша,

Вот уже десять дней, как я вернулся во Францию – время мчится без оглядки, и я уже тоскую по иерусалимским встречам. Привет Вам и Рае от Марии, которая тоже вспоминает недавние дни в Израиле с грустью...

Но иерусалимские сюжеты – другая история, о которой, может быть, когда-нибудь и напишу.

* * *

Через 27 лет, благодаря «давлению на психику» автора со стороны издателя «Избранного» Евгения Захарова и помощи нам обоим со стороны питерского «мемориальца» Вениамина Иоффе, я могу прочитать собственное «таинственное сочинение», изменившее мою жизнь, всю судьбу.

Изначально невысоко ценил я себя, понимая, что ведь не литературовед, уж тем паче не стиховед: профессионально оценить Бродского не по силам, не по знаниям, не по уму дерзкому наглецу. Потому нормально встретил отказ составителя собрания, Вл. Марамзина, запустить мое сочинение в самиздат. Честно признаться, когда гебисты пришли за этой статьей, я уже и был, что там писал... Помнил только что называл Бродского «великим» – лишь из-за ужаса перед собственной дерзостью! Сегодняшние читатели, поймите – тогда он был не признанный классик, нобелиант, а просто знакомый, молодой рыжий парень, стихами которого я восторгался, как щенок, это-то правда, – но мало ли кто в Питере вызывал мои восторги... Вот был еще такой знакомец, вечно нищий художник Мишка Шемякин, которому я одалживал (без возврата, естественно) какие-то гроши, а также устраивал платные халтурки – покраску стендов в 503-й школе, где я работал учителем литературы... И только сочиняя в 1973 году статью, я прямо-таки принужден был неким «внутренним голосом», что оказался сильнее меня, обозначить Бродского великим поэтом. Не хотел, трусил, боялся, но, как видите, решился и - назвал... И даже, как теперь ясно, не слишком и ошибся.

Перечитывая себя, с искренним изумлением понял, что выявил тогда грани таланта Бродского, о которых никто после меня за 27 лет не написал! Значит, по-своему статья стоит публикации (Евгений Захаров, настоявший на действе, оказался-таки прав, а я, возражавший ему, - нет).

Несколько слов о перечитанной – и тоже через 27 лет - рецензии профессора Эткинда.

На меня она не произвела большого впечатления – и не потому, что Эткинд был в чем-то неправ. Просто ко мне как автору эта рецензия не имела прямого отношения: ну, не мог я удовлетворить запросы профессора («Самая красивая женщина не может дать больше, чем она может», говорят французы). У меня не хватало ни знаний, ни опыта, ни чутья, чтоб ощутить и проанализировать, скажем, космизм и вообще философию Бродского. Я умышленно этой теме бежал, а вовсе не пропустил ее по ошибке. «Еже писах – писах», а про что не писал, так не мог написать, в принципе не мог.

И далее: о неприязни начальства к Бродскому... Эткинд прав в своих «картинках с выставки» и замечательно, что он оставил такую зарубку для потомков. Только ведь я-то писал не о том, за что начальство Иосифа не любило, это интересная, но совсем иная тема. Мало ли за что оно кого-то не любило! Но не каждого же грамотея и чужака сажали... Вон Битова не посадили, Ефимова не посадили, Довлатова, Стругацкого, у властей был безошибочный инстинкт, кого сажать нужно, а с кем можно годить, я иногда даже поражаюсь точности их нюха.

И насчет Венгрии: не нашел я в стихах никакого отражения венгерской трагедии. Не было у Бродского этого – даже косвенно... А писал-то я не об эволюции общего мировоззрения Бродского (не настолько я его и знал), а лишь об изломе его поэтического видения (от второго тома к третьему), а вот этот излом наблюдался точно и виделся следствием общественного переворота 1968 года.

Эткинду как профессионалу-литературоведу по прочтении моей статьи явно самому хотелось написать о поэте. И ему было о чем писать – про что я бы написать не мог никак... Самим этим импульсом я могу гордиться. И его рецензия может передать потомкам нюансы нашей тогдашней странной жизни. Кроме того... «Ваш интеллектуальный соавтор», называли его гебисты. Так пусть, как и в следственном деле, решил я, он тоже останется на страницах моего «Избранного».

(2000 год)

ИСПОВЕДЬ БЫВШЕГО ПОДСУДИМОГО (после прочтения протокола моего процесса)

Странно сегодня обдумывать документ, протокол процесса, составленный 27 лет назад по свежим следам от только что состоявшихся судебных заседаний моими близкими друзьями...

Суд, даже советский, виделся мне в то время игрой, в чем-то похожей на шахматные задачи.

Дано: некие правила, некий набор ходов. Даны противники, играющие «белыми» - профессионалы игры, юристы. Им знакомы дебюты, изучены все типовые комбинации... Я, играющий за «черные фигуры», - новичок-любитель, сеансер, знающий про игру ноль целых, ноль десятых. Мне (в компенсацию) положен по правилам «подсказчик», профессионал игры (адвокат). Реально он, конечно, должен быть на стороне «белых», юристов-профессионалов (сегодня я знаю, что так бывало не всегда, но в то время адвокаты - впрочем, как и прокуроры - считались в нашей компании «карманными»: то есть КГБ вынимает их для нас, хотя и из разных карманов). Жетоном победителя являются годы жизни «черного игрока» - в плюс его судьбе или в минус ей... Так что выиграть партию мне все-таки хотелось.

Необходимое преддебютное разъяснение читателю. Я действительно не был жертвой беззакония КГБ. Я действительно был виновен по букве и, особенно, по духу советского закона. С точки зрения властей я несомненно заслуживал наказания! Во-первых, на самом деле, а не только в выдуманной следствием и судом версии, которую вы прочли, распространялся мной «самиздат». Получая оригиналы «московских» документов от «подельника», писателя Владимира Марамзина, я организовал тайный «кооператив» (с помощью знакомой машинистки, Людмилы Эйзенгардт). Четыре отпечатанных ею экземпляра расходились по моим знакомым, пятый (вернее сказать, первый - его «первость») и служила моим гонораром за «оргработу») оставался у меня. На обыске у меня изъяли свыше семидесяти машинописных копий разных текстов, и если бы в КГБ знали про эту, мою подлинную «службу в подполье», то спорить с ними в суде было бы затруднительно, если не невозможно.

Но мне удалось сие важное обстоятельство от ГБ скрыть. Комитет остался в заблуждении из-за своих... профессиональных приемов. Из-за удивительного доверия тайной полиции к так называемой «оперативной информации», то есть к доносам своих внештатных агентов! Секрет в том, что с людьми, знавшими о моей «коллекции самиздата» (а эта компания включала, как выяснилось, нескольких стукачей), я делился (на всякий случай) только «дезой»: мол, «самиздат» приходится покупать с рук... Или - что мне что-то

выдавал из своих «бумаг» уже убывший в Израиль приятель, Александр Пинскер (как раз он-то мне ровно ничего и не давал! Но я знал от самого Саши, что за ним гебисты следят, значит, версия должна выглядеть в глазах следствия правдоподобной. А на эмигранта любому подследственному дозволено было нашим «негласным кодексом» все валить - как на мертвого... На меня самого потом аналогичную «информацию» валил на своем следствии мой питерский приятель, Михаил Мейлах). Своим «оперативным данным» мои «белые» партнеры по следствию свято верили, как приходские попы – требнику. Так что удобная версия (мол, я лишь собирал для себя и читал нелегалщину для собственных исторических «штудий», а это по закону – не каралось), она вошла де-факто в следственное дело без особых возражений КГБ.

И, конечно, я отлично сознавал антисоветский характер моей статьи о Бродском. Да и трудно было его не понять, если сам «заказчик-составитель», Володя Марамзин, отказался статью печатать, сказавши: «Нас всех за нее посадят, а культурное начинание (т. е. собрание сочинений Бродского) будет погублено». И самый первый читатель, моя жена, напоминая, сразу, то есть уже над свежееотпечатанным текстом, сказала: «Посадят тебя, Мишка» – «Пусть посадят», - ответил я, сознательно принимая подобный вариант судьбы. То есть наивным я все-таки никак не был!

В ходе разработки исходной позиции мне, однако, исключительно повезло. Взяли меня в камеру не сразу после обыска, как обычно у них велось, а через три недели. И потому я на воле успел прочесть Уголовный кодекс. И успел узнать: в отличие от остальных статей УК, курируемых незыблемым юридическим правилом – «незнание закона не освобождает от ответственности», как раз мой, едва ли не единственный в кодексе параграф УК («статья 70») особо оговаривал: преступление по данной статье («изготовление и распространение») считается криминалом лишь при наличии «умысла на подрыв и ослабление советской власти». То есть наказание по «семидесятке» было определено для правонарушителя лишь как итог его сознательного пропагандистского действия! «Неумышленное же распространение» по закону, даже по советскому закону, преступлением не считалось.

И еще я успел узнать из УК, что если правонарушитель сам отказался от исполнения инкриминируемого деяния – еще до того, как он был вычислен КГБ, то он автоматически освобождается от наказания за свой «замысел». Таков, повторяю, был советский кодекс – основной свод правил предлагаемой мне в КГБ судебной игры.

Так что, как выделось, на руках у меня складывались неплохие козыри. Или точнее – выстраивалась вполне надежная оборонительная

позиция. Оставалось обдумать, как же реализовать завоеванное мной на следствии преимущество - в эндшпиле. То есть в приговоре суда.

И вот удача. Как раз незадолго до моего суда выступил с речью Брежнев, прокламировавший очередную политическую директиву ЦК в борьбе с инакомыслием. Нас, диссидентов, он поделил на две категории. Первая - «враги» - те, кто, по его определению, находится «в контакте с зарубежными центрами». Вторая - «заблудшие души», то есть те, кто таких контактов не имел. Первых полагалось - по Брежневу - сажать. Со вторыми же генсек предлагал «поработать».

Снова подчеркну: я не был наивным балбесом, верившим в советское правосудие. Но мне действительно (и довольно прямолинейно) виделось, что партийные указания, спущенные из ЦК, обязательны для юридических инстанций к исполнению. Вот почему я так играл на суде цитатой о брежневских «заблудших душах». Ко мне его классификация вполне подходила, ибо заграничных контактов у меня вовсе не имелось, статья о Бродском, забракованная Марамзиным, к публикации за границей тоже не предполагалась. Значит... Значит, я должен был по правилам, предложенным из ЦК советскому правосудию, выиграть партию у ГБ.

...Но неслучайно, готовя меня к процессу, следователь доброжелательно внушал мне: «Вы, Михаил Рувимович, не знаете практики!» И, действительно, я ведь впервые в жизни наблюдал советский суд в его практической работе. Забавное было зрелище!

Опущу, впрочем, описание пикантных зрелищ - скажем, заседателя, что не в силах был прочитать мою фамилию, как «слишком трудную», а ведь обозначен законом этот эрудит был как обсуждатель и решатель правильности моих взглядов на поэзию Бродского! Опущу и наблюдения над судьей, который всерьез - я ясно видел - полагал, что журналист, берущий у кого-то интервью, есть плагиатор, исхищающий у авторов ценную информацию. Но по-настоящему поразил меня суд лишь тот момент, когда судья предупредил свидетеля Марамзина об ответственности за отказ от дачи показаний - «до семи лет лишения свободы!» Я ведь точно знал (опять-таки - успел прочесть УК), что за такое деяние положено по статье закона лишь «полгода исправтудработ» (тем паче - положено Марамзину, который сам находился под следствием по тому же делу). Так нагло, нахрапом, на глазах у почтенной публики, человек с сединами вслух лгал, в судебном присутствии, то есть сидя «в мантии», причем в том зале, где, помимо нас, невежд, сидели все-таки профессионалы, ну хоть тот же адвокат... (Я ведь еще не знал цену советским адвокатом.). Прямо обалдел я тогда!

В принципе тактика, избранная мной на процессе, сводилась вот к чему: лгать суду как можно меньше. Не потому, что я такой честный человек (говорить одну правду, только правду в стане врагов - было бы чистой

глупостью, тем более, что обвиняемый по закону и не обязан свидетельствовать против себя). Однако чем меньше ты врешь, тем труднее тебя запутать, тем труднее, следовательно, проиграть свою игру... Например, отрицая на суде, что я «антисоветский человек», я делал это на свой лад искренне, хотя – лукавил немного, конечно. Для самого-то себя я как историк знал, что советская власть как специфическая форма государственного устройства фактически была ликвидирована в СССР уже сталинской конституцией 1936 г. К той, давно умершей системе, у меня никаких претензий уже и не было и быть не могло! По функциям и способу своего формирования Советы моего времени не отличались от обычных управ или муниципалитетов. Почему ж мне выступать против системы местного или центрального самоуправления в СССР? Более того, современная мне власть Советов как система могла бы, по-моему, использоваться также и в интересах народа, в интересах демократии – что, кстати, доказал потом Горбачев с его Съездом народных депутатов! Мой следователь, кстати, довольно точно определял: «Вы хотите представить себя не антисоветчиком, а антирежимником, да?» (Я и всегда утверждал, что Карабанов был умным и талантливым специалистом, да и ко мне в принципе он относился неплохо.) Я действительно был не против системы Советов как органов госуправления (система могла быть такой, могла быть другой – что я в этом понимал?), но против однопартийной диктатуры, против социального запрета на частную собственность (к слову уж, как и против бесконтрольной игры рыночных сил в стиле XIX века... Слава Богу, мы все-таки жили после теорий Кейнса и социальных опытов Рузвельта и Эрхадта). Но потому, что моя позиция не сводилась к убогому термину «антисоветский», я с легкой совестью мог отвергать это утверждение в суде...

(Я не раз лукавил в подобном духе, назвав, например, в качестве настоящего антисоветчика - в противовес себе – моего сокамерника Юру Васильева. Ибо я подозревал Юру в том, что он служил «наседкой». Не ошибся, между прочим... К счастью, судья и прокурор не догадывались о моих шалостях, иначе не сбавили бы даже тот год со срока, что в итоге сбавили.)

Возможно, здесь место оговорить еще деталь. Кто-то из свидетелей упомянул очерк об Александре Ульянове – явно с целью «обелить» меня, мол, автор-то «писал на ленинскую тему». И опять я слукавил – возражать или что-то пояснять не стал, хотя на деле очерк об А. Ульянове был едва ли не столь же антикоммунистическим опусом, как моя статья о Бродском. Настолько венецензурным, что мне отказал в публикации, не решившись дерзнуть, составитель сборника «Пути в незнаемое», для коего мой «Ульянов» и предназначался, - Лев Разгон. Лев Эммануилович, однако, захотел повидаться с отвергнутым автором, объясниться со мной, и... мы немного подружились).

Мне, однако, повезло, что, показывая мою статью о Бродском своим приятелям, я объяснял им: «Марамзин отказал в публикации, нужно эту статью переделать, я не знаю как...» На деле, конечно, в этом комментарии скрывалось лишь некое хейфцевское кокетство – мол, не лезу я к вам со своим сочинением, не хвастаюсь написанным, а просто нуждаюсь, ребята, в совете... «Как мне переделать текст для Марамзина?» Но на следствии и суде это обстоятельство весьма и весьма мне сгодилось: я истолковывал «распространение» не как пропаганду, а напротив, как желание избежать ее, как попытку исправить «возможный вред»... Все до единого свидетели это подтвердили (кстати, им самим версия была весьма удобна). Но в результате - обвинение рассыпалось: исчезал ведь «умысел на подрыв и ослабление» власти. Напротив, я как бы пожелал сам «исправить» обсуждаемый текст, я до вмешательства КГБ «пожелал ликвидировать преступление»... Какая ж это пропаганда?

Оговоро: все свидетели давали свои показания суду так, чтобы максимально облегчать положение подсудимого. Например, Марамзин говорил, якобы инициатива написания статьи исходила не от меня, а от него. Фактически, видимо, так оно и было (то есть замысел привлечь меня, возможно, у него уже возник, когда он впервые заговорил со мной на эту тему). Но формально я сам, первым предложил идею написать о Бродском. То есть инициатива была моей, а Володя взял эту вину на себя! Не сомневаюсь, что и врач Загеба лгал суду, якобы мою статью он читал у Маши Эткинд «без ее ведома» (наверняка, она дала ему статью сама). Кстати, и «самиздат» он получил от меня не случайным образом, как описывал в суде, а попросил...

Борис и Ада Стругацкие яростно спорили с судьей, пытаясь доказать, мол, моя статья – «не антисоветская». Здесь, кстати, нужно пояснить еще факт. На следствии я показал, что Борис Стругацкий говорил: «Посадят тебя» – и это, кстати, было правдой. Но цель-то моя, естественно, заключалась отнюдь не в том, чтобы сказать суду или следствию какую бы то ни было «правду», нет, цель показания вписывалась в общую стратегию обвиняемого. Меня, мол, окружали хорошие советские люди, они предупреждали, они отговаривали от публикации, и Стругацкий тоже, ну, я их послушался – статья и оказалась неопубликованной. Так сказать, предмет личного писательского архива, а это – неподсудно. Все свидетели – люди по советским меркам хорошие (мне казалось важным вывести их - в ходе оперативных действий уже вычисленных и выведенных органами лиц - из-под внесудебных репрессий). Но и я тоже, наверно, хороший, раз слушался их советов, правда?!

Моя юридическая неподсудность с каждым днем процесса обнажалась в суде. И потому-то судебная драма развернулась лишь в предпоследний день. Тогда, в перерыве судебного заседания ко мне подошел адвокат и стал уговаривать – «хоть в какой-то форме», так и сказал - признать

свою вину. «От этого зависит срок. Разница может быть в несколько раз. Ну, хорошо, вы ведете себя принципиально, но ведь вы на свете не один... У вас семья, жена и дети, неужели вы не хотите о них подумать! Признайте себя виновным – хоть в какой-то степени.» - «И срок, действительно, зависит от этого?» - поразился я. «В решающей степени!». Его аргументация – признаюсь - сильно подействовала. Прежде всего, потому, что я тогда думал: он контактирует с моей семьей и, хотя не мог это говорить в присутствии конвоиров, но передает на деле просьбу не свою, а моей жены... То есть - «подумай о семье!»

Легко держаться принципиально, когда отвечаешь только за себя и, главное, рискуешь собой. Если не хилак – это, действительно, не слишком уж трудно, я точно знаю. Но, вступая в брак, заведя детей, ты добровольно принял на себя ответственность за кого-то другого, за близких людей. Уже позже, в зоне, я увидел, что у настоящих, «кадровых» диссидентов чувство семейной солидарности обычно отмирает. И у меня самого оно к концу срока в значительной степени атрофировалось: я считал, что, рискуя собой, борюсь как бы за «народ», за «правду», и все остальные, включая жену и детей, как бы обязаны помогать мне во всем, что я во имя этой «правды» задумаю. Я действиями и судьбами остальных самовластно распоряжался! Но в начале-то, перед судом, я был нормальным человеком – не считал себя вправе пренебрегать страданиями семьи ради личных принципов. Уж коли адвокат, профессионал, нанятый женой помогать мне, и советует мне солгать, советует «хоть в какой-то мере» признать себя виновным, может, ему лучше понятен профессиональный вектор ситуации, чем мне самому?

...Я и до сих пор не знаю, почему адвокат так себя вел. Почему, вместо того, чтоб оспаривать позицию прокурора, защитник Зеркин фактически поддержал беспомощно-злое выступление обвинителя, пытаясь залатать дыры бездарно-глупой речи оппонента! Мне вовсе не хочется думать, что он находился в сговоре с «белыми фигурами», но фактически Зеркин действовал не в моих, а в чужих интересах. Процесс проваливался, отсутствие пропаганды, т. е. «умысла на подрыв», выяснялось с полной очевидностью. - даже, как я понял потом, в сознании судьи!.. На моем сроке эта «позиция» вряд ли сказалась бы, «судьи скажут то, что им прикажут, вот что судьи скажут» (как пелось в народной песне), но при пересмотре дела в Москве, под давлением всевозможного общественного мнения, все могло бы повернуться как-то по-иному! В любом случае Зеркин должен был как добросовестный адвокат, если он на деле верил или даже точно знал, что мне сбавят срок за признание вины, должен был передоверить торг в операции самим заинтересованным лицам – следователям. Зачем ему понадобилось работать на других, не получив никакого вознаграждения, кроме заслуженного презрения, положенного предателю своего подзащитного?

Так вот, решив, что он передает просьбу жены, я начал всерьез думать - что тут можно сочинить? И придумал, как мне виделось, хитроумную конструкцию. В самом начале следствия, будучи человеком, юридически неопытным, я принял формулировку, предложенную следователем: «Признаю себя виновным частично, ибо все факты, изложенные следствием, верны, но истолкование их неправильно: умысла на подрыв у меня не было». В конце следствия (и на суде) я решил, что нечего идти им навстречу даже в таких мелочах и твердо заявил о своей «полной невинности». Именно это заявление мешало, по мнению адвоката, тому, чтобы я получил меньший срок... И тогда я сочинил для суда новую версию.

Вот как она звучала: человек юридически неопытный, я, мол, совершил некие деяния, например, сочинил статью, хотя был уверен, что закон мною не нарушен. Но здесь, в зале суда, впервые столкнулся с юристами. Со специалистами. Все говорят, что я ошибаюсь, что я преступил рамки закона, очерченные для поведения законопослушного гражданина. Это говорит прокурор, это говорит судья, говорит то же самое мой адвокат. Возможно, я ошибался... Но если вышло так, что я, сам того не понимая, нарушил закон, то об этом сожалею, ибо намерения сделать правонарушение у меня не было...

Казалось, я исполнил положенный советский ритуал: и признал себя виновным, и выразил сожаление о содеянном. И вроде бы удалось это сделать в приличном оформлении.

Теперь читатель уже способен понять непонятный тогда мне самому заключительный спор прокурора с адвокатом. Я, кстати, допускаю, что адвокат не находился в стоворе с обвинением, а просто был профессионально плохо подготовлен к защите по политическому делу. Ему, возможно, виделось, что, уговорив меня исполнить нужный – по советским понятиям – ритуально-покаянный танец, он соответственно должен получить за него полагающуюся «скидку с приговора». Но прокурор, вообще-то человек темный даже по меркам ГБ, как раз в таких делах понимал куда больше своего оппонента. Ибо - если я признаю, что, нарушая закон, на самом деле не понимал, что преступаю рамки статьи семидесятой, так это ведь по-прежнему означало, что я... невиновен. В моих действиях, значит, не имелось того самого нужного для обвинителя «умысла на подрыв и ослабление!» Вот почему прокурор заорал «вне очереди», что я «не сделал и полшага к раскаянию». И был прав, между прочим! По его-то меркам я лишь снова повторил, что – я невиновен. Больше этого - ничего, с точки зрения буквы закона, не было сказано.

Как я понял позднее, реально нам, «семидесятчикам», срок раздавали следующим образом: одиночкам – до пяти лет зоны (и в прицеп сколько-то ссылки), а членам группы (т. е. тем, кому довели статью 72 – «групповая деятельность») от 5 до 7 лет. То есть когда прокурор запросил мне «пять с прицепом» - он запросил максимум, доступный обвинителю в

законодательной практике. Суд же сбавил мне год с запрошенного прокурором срока.

В чем причина такой «гуманности суда»?

Тут стоит разобрать вопрос-лемму: зачем в принципе вообще нужен был суд в системе советского правосудия (особенно по политическим делам)? Ведь ни у одного нормального советского человека не возникало сомнения, что приговоры «политикам» определялись не в зале суде, а на бюро соответствующего партийного органа (обкома, горкома и пр.) – по докладу шефа местного КГБ, обычно члена этого бюро. А судьи потом, уже как члены партии, обязаны был любое решение парторгана исполнить...

Я согласен, что суд не решал сроки по политическим делам. Но смысл в его действиях имелся – и немалый смысл. Хотя - не для подсудимых...

Суд, мне видится, служил в той системе некоей контролирующей, инспекторской инстанцией. Он решал не судьбу подсудимых, но проверял качество работы других юристов – следователей, прокуроров, экспертов, нотариусов. По его заключениям (приговорам) начальство могло потом судить, кто в его системе есть кто, и в какой степени они способны работать.

Почему так думаю?

Потому что мой судья, Олег Васильевич Карлов, вынес прелюбопытный приговор.

Напоминаю: сначала мне виделось, что подвести мое дело под «подрыв и ослабление» было невозможно. Я ошибался. Уже в обвинительном заключении имелся целый лист доказательств на «умысел». Правда, они не выдерживали и легкого разбора (например, солидно указывались ссылки на нужные страницы «дела», где ничего подобного обнаружить было бы невозможно). То был правильный расчет на то, что ссылки постранично никто не проверяет, и раз сказано, что там есть нечто, то оно – есть. А судья Карлов, возможно, перепроверил...

И тут самое место обрушиться на фальсификаторов от ГБ, но я не сделаю этого. Ибо мои следователи потому и латали обвинительное заключение фальшивками, что их сознание являлось сознанием настоящих юристов: они старались хотя бы оформить дело чем-то похожим на юридически логическое построение. Как говорится, и на том, товарищи чекисты, большое советское спасибо!

А судью-то дали мне почему-то из «сферы обычного права»: то был его первый политический процесс. Причем Карлов, отдав должное, был в принципе неплохим именно как профессионал-юрист, хотя во всем остальном невежественен, нагл и темен... На суде я лишь слегка прикоснулся к обвинительному заключению - и оно развалилось на осколки. Потому-то судья дословно, как принято было, переписал из «обвинилки» в приговор почти

весь текст, но исключил один лист - с доказательствами "умысла на подрыв"... Взамен Олег Васильевич вставил в приговор простую, как бляение, фразу: "Умысел Хейфеца М.Р. на подрыв и ослабление Советской власти доказывается всеми его действиями". Конец цитаты.

Признаюсь, я от радости обалдел. Я дышал, например, ел, ходил в кино, спал с женой – и оказывается, самым фактом своего существования подрывал советскую власть!

Однако, подумав позже, я смирился с судьбой. И к приговору Карлова претензий не имею. Ибо судья по сути был прав.

...Я родился в год сталинской пятилетки в бедной и абсолютно советской по убеждениям семье. Я был воспитан комсомолом и книгами Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина плюс «Кратким курсом истории ВКП(б)». Потом - комсорг, целинник (правда, в КПСС не вступил)... Посторонних влияний не найти: не было у меня ни одного знакомого иностранца, растлившего меня в буржуазную веру, и диссидентских знакомств практически не имелось. На сберкнижке гебисты обнаружили всего пять рублей - значит, «незаконных доходов» не имел. Но не был я и беден – имел среднесоветский заработок (хотя немного поступившись совестью, мог прилично «подхалтурить» – мне, значит, даже и корыстные побуждения не пришьешь). В глазах Олега Васильевича существование такого «оборотня», как я, выглядело неоспоримым свидетельством разложения основ советской власти – и мог ли я возразить по существу его приговора?

В заключение мемуара два эпизода – так сказать, «по следам событий». После приговора подследственному положено получить свидание с женой. Сидя в камере напротив меня, жена говорила: «Процесс ты провел неплохо, но под конец дрогнул. Ну, ладно, это и не так страшно, что признал себя виновным: тебе все-таки год сбавили. Сейчас это неважно, а вот когда срок будет кончатся, год станет очень важным...» – «Так это не ты просила уступить им?!» – «Что?!» С той минуты я навсегда потерял всякий хоть в чем-то идти на какие бы то ни было уступки родному начальству.

Второй эпизод как бы завершает мою следственно-судебную эпопею. Через несколько месяцев следователь вызвал моих мать и жену в КГБ. «Я говорю с вами как частное лицо, - сообщил он (потрясающе, правда? Следователь КГБ сообщает нечто в кабинете своего ведомства «как частное лицо!»). – Если Михаил Рувимович напишет просьбу о помиловании, он через год сможет воспитывать своих детей дома». Увидев, что у жены эти слова не вызвали умиления, спросил: «Вы-то сами чего хотите для мужа?» – «Я хочу, чтобы он остался, как был, порядочным человеком», - ответила Раиса. «Вот вы какая, - орал он на меня, потев от злости», писала жена в зону, и чудо: поскольку органы нуждались, чтоб информация до меня дошла, письмо мне – передали.

Мама, конечно, помчалась в зону – уговорить сыночка. Но мне было уже интересно: я как раз приступал к сбору материалов для будущих книг... И собирал его там до «последнего звонка». Итогом стали написанные в ЖХ-385 книги «Место и время», «Русское поле» и в ссылке (в Ермаке) «Путешествие из Дубровлага в Ермак».

Но это - совсем другая история...

* * *

И все-таки не удержусь от уже самого последнего лирического отступления. Для меня полной неожиданностью оказалось воздействие этого «политического преступления» на всю литературную жизнь Питера. Мои коллеги, как и я, свято придерживались тогда той странной идеи, что работать на русском языке возможно лишь в России – и за такое великое благо стоит терпеть даже советскую власть. Зафиксировал это тогдашнее настроение Сергей Довлатов в «Заповеднике»:

- Еще раз говорю – не поеду.

- Объясни, почему.

- Тут нечего объяснять... Мой язык, мой народ, моя безумная страна.

Представь себе, я люблю даже милиционеров.

- Что тебя удерживает? Эрмитаж, Нева, березы?

- Березы меня совершенно не волнуют.

- Так что же?

- Язык. На чужом языке мы теряем восемьдесят процентов своей личности. Мы утрачиваем способность шутить, иронизировать. Одно это меня в ужас приводит».

...Когда я кончал срок, почти все оставшиеся на воле друзья уже переправляли свои стоящие рукописи на Запад. Вот как сфантазировал Довлатов задушевные беседы с гебистами (в «Наших»): «За что Мишу Хейфеца посадили? Другие за границей печатаются, и ничего. А Хейфец даже не опубликовал свою работу.

- И зря не опубликовал, - сказал гебист. – Тогда не посадили бы. А так – кому он нужен?»

Город казался мне пустым: уехали Марамзин, Лосев, Ефимов, Довлатов, Нечаев, Коробов, даже Володя Соловьев с Леной Клепиковой – сбежали... Умер Борис Вахтин. Только Борис Стругацкий упорно был верен России, хотя его судьба выглядела надломленной после этого «дела» (что видится, когда читаю про «Мирского» в его позднем романе «Поиск предназначения»).

Однако хватит рассказывать историю моего «политического преступления». Как говорится, пора уж Шахразаде прекратить дозволенные речи...

МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ

СОДЕРЖАНИЕ

ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕМЯКИНЫХ СУДАХ	3
ОДНОМЕСТНЫЙ ТРАМВАЙ (Записки несерьезного человека)	5
СОВЕТСКОЕ ПРОШЛОЕ. ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ К истории 5-томного собрания сочинений Иосифа Бродского, выпущенного в ленинградском «самиздате» в 1972-1974 годах	6
ИОСИФ БРОДСКИЙ И НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ	18
РЕЦЕНЗИЯ ПРОФЕССОРА Е. ЭТКИНДА на статью «Иосиф Бродский и наше поколение»	35
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДЕЛА КГБ Дела Суперфина, Эткинда, Хейфеца, Марамзина	37
ДЕЛО ХЕЙФЕЦА Запись судебного процесса	38
КОММЕНТАРИЙ К «ЗАПИСКАМ НЕЗАГОВОРЩИКА» Ефима Эткинда	62
ИСПОВЕДЬ БЫВШЕГО ПОДСУДИМОГО (после прочтения протокола моего процесса)	76